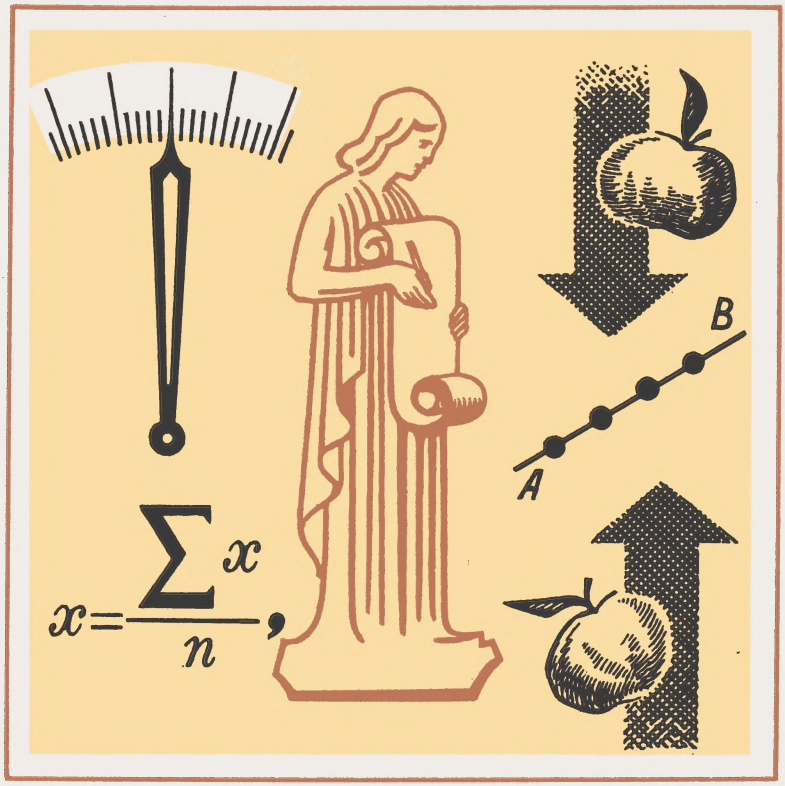
Б. Н. МИРОНОВ

ИСТОРИК И СОЦИОЛОГИЯ



·НАУКА·
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Современные тенденции развития науки»

Б. Н. МИРОНОВ

ИСТОРИК И СОЦИОЛОГИЯ

Ленинград
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
1984

В книге рассматривается возможность применения в историческом исследовании социологических методов, понятий и концепций с целью более глубокого проникновения в сущность изучаемых историками процессов и явлений. Анализируются наиболее существенные проблемы, стоящие перед историками, применяющими прикладную социологию в исторических работах, — формализация исследовательских процедур, использование социологических понятий в историческом анализе, сочетание конкретно-исторического и социологического подходов, выявление скрытой информации в исторических источниках и историческое развитие сознания. Все эти проблемы изучаются на конкретном материале социально-экономической истории России XIX в.

Книга рассчитана на историков, социологов, психологов и всех интересующихся междисциплинарными связями гуманитарных наук.

Ответственный редактор
доктор исторических наук З. В. СТЕПАНОВ

Рецензенты:
член-корреспондент Академии наук СССР И. Д. КОВАЛЬЧЕНКО,
доктор философских наук В. А. ЯДОВ

М $\frac{0501000000\text{-}741}{042(02)\text{-}84}$ 27-84-IV

© Издательство «Наука», 1984 г.

ВВЕДЕНИЕ

В советской науке не принято противопоставлять историю социологии, поскольку они имеют единую теоретическую основу — диалектический и исторический материализм. И тем не менее среди социологов бытует представление, что историки за деревьями не видят леса, а среди историков распространено мнение, что социологи за лесом не видят деревьев. Различие между историческим и социологическим подходами к явлениям общественной жизни известный русский историк В. О. Ключевский выразил в двух афоризмах: «В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений» и «Смотря на вещи свысока, с высших точек зрения, мы видим только геометрические очертания и не замечаем самих вещей». [1] Верно ли такое противопоставление истории и социологии?

Марксистско-ленинская социология органически включает три составные части: общую социологическую теорию (исторический материализм), совокупность специальных социологических теорий или теорий «среднего уровня» и, наконец, конкретные социологические исследования со специфической методологией, методикой, техникой и понятийным аппаратом. Последние две части объединяются понятием «конкретная социология», или «прикладная социология».

Общая социологическая теория ориентирует историка на всех этапах его исследования: помогает выбрать тему и объект изучения, выступает организующим моментом при сборе и систематизации метериала, дает методологическую основу для объяснения выявленных историком фактов, для их обобщения, обнаружения между ними связей и причинно-следственных зависимостей. В этом

смысле противопоставление истории и социологии лишено основания.

С прикладной же социологией историки, как правило, знакомы плохо, поэтому ее понятийный аппарат, специфическую методологию, методику и технику используют редко и мало. В этом смысле противопоставление истории и социологии не потеряло своей актуальности.

Отсутствие тесных творческих контактов между историей и прикладной социологией имеет свои генетические корни в традиционно сложившемся в общественных науках разделении труда: познанием особенного и ролью особенного в развитии социальных явлений занимается преимущественно история, а познанием общего и его ролью в развитии явлений — социология.[2] В самом деле, историк прежде всего интересуется тем, чтобы до мельчайших подробностей выяснить, что и как в действительности было. Историческую достоверность, конкретность и точность он рассматривает как обязательное условие для воссоздания картины прошлого, для выяснения закономерностей изучаемого явления и его сравнительно-исторического анализа. Напротив, социолог конкретную подробность нередко приносит в жертву общности картины, а историческую точность — логической четкости и ясности, отдавая предпочтение выявлению логической эволюции явления и ее общих закономерностей перед выяснением исторической эволюции явления во всем ее конкретном проявлении и со всеми особенностями. Это классическое разделение одного в сущности предмета исследования — человеческого общества на сферы влияния социологии и истории перестает удовлетворять ученых как по теоретическим, так и по практическим соображениям.

Хорошо известно, что каждое явление представляет собой единство общего и особенного и наилучшим образом раскрывается, если исследовательские усилия направлены одновременно на познание как общего, так и особенного. Преимущества такого комплексного, диалектического по своей сути подхода, образцы которого мы находим в трудах классиков марксизма-ленинизма, послужили одним из оснований взаимного интереса историков и социологов, который обнаруживается в последнее время в СССР.[3] Кроме того, опыт историков показал, что исторические закономерности имеют свою специфику и не сводятся к закономерностям социологическим.[4] Познание

первых входит в компетенцию историков и может быть осуществлено только при усилении внимания к аспекту общего, закономерно повторяющегося в исторических явлениях, то есть путем использования социологического подхода. Стало ясно также, что без известной теоретизации и усвоения некоторых социологических концепций и понятий история не сможет из науки о событиях в полной мере превратиться в науку о социально-экономических процессах, отношениях и структурах, интерес к которым особенно сильно проявился в последние десятилетия.

Социологи в свою очередь стали высказывать убеждение, что без знания и учета исторической природы социальных явлений невозможно успешно работать. Например, затруднительно выяснить закономерности социальных изменений, правильно понять механизм «работы» социальных групп и социальной мобильности, последствия урбанизации и особенности религиозного сознания, истоки этнических отношений и причины отклоняющегося (неконформистского) поведения. Проблема прогнозирования, занявшая столь важное место в науке сегодняшнего дня, тоже может быть успешно решена только на основе учета долговременных тенденций, то есть на историческом фоне.[5]

Существующая исследовательская разобщенность между историками и социологами приводит к тому, что многие работы, имея значительную ценность в своей конкретной сфере, тем не менее весьма мало и редко интересуют представителей смежной науки. В конечном итоге проигрывает наука об обществе в целом. Между тем история и социология достигли значительных успехов в своем развитии, и сближение методов, понятийного аппарата, взаимный обмен опытом и информацией бесспорно пойдут им на пользу. Об этом свидетельствуют сама постановка вопроса о необходимости кооперации социологов и историков и первые практические шаги на этом пути. Появляются историко-социологические работы; расширяется проблематика исторических исследований за счет включения в нее таких тем, которые прежде затрагивались преимущественно социологами; происходит обогащение истории методами социологической науки (в частности, контент-анализом, структурными методами), а социологии — методами исторической науки (в частности, методами источниковедческого анализа и работы с документами); проводятся междисциплинарные конфе-

ренции; возникли автономные «пограничные» дисциплины: историческая психология и историческая социология.

Благодаря обнаружившемуся в последнее время взаимному интересу контакты между историками и социологами стали усиливаться. Однако вряд ли пока можно говорить о существенном переломе в их отношениях.

Сотрудничество истории и социологии предполагает осознание того, какая помощь нужна и какую помощь может оказать одна наука другой. В чем же нуждается история и что ей может дать социология? Какие трудности стоят перед историком, использующим социологический подход в своих исследованиях?

При анализе массовых социально-экономических процессов и явлений, их глубинных структур и механизмов функционирования именно социологический подход с его комплексом методов, предназначенных для решения подобных вопросов, может быть весьма полезным для историка.

Далее у историка заметно стремление к объемности, многоплановости и комплексности исторического ви́дения. Для решения этой задачи социология предлагает ему ряд понятий и концепций, которые позволяют поставить новые вопросы, по-иному посмотреть на традиционные проблемы, сделать объект изучения многогранным, «глубоким».

Но расширению проблематики и углублению исторического анализа серьезно препятствуют источниковые трудности — пробелы в исторических источниках, отсутствие нужных сведений. Применение социологических способов решения источниковой проблемы — использование скрытой информации и внеисточникового знания, мысленный эксперимент и дедуктивное рассуждение как методы получения нужных сведений — может служить для историка важным подспорьем при решении источниковой проблемы.

Историк испытывает потребность и в известной формализации процесса исследования, в определенной системе логических процедур, которые бы уменьшили субъективность и импрессионистичность его заключений, повысили теоретический уровень его научных построений, их доказательность. В этой связи отметим, что историки используют разнообразные методы анализа. Однако в большинстве случаев эти методы применяются без строгой процедуры, что лишает порою выводы историка необходи-

мой доказательности и четкости, которые требуются от научных выводов, и оставляют их нередко как бы на уровне обыденного сознания.

К тем же результатам приводит использование в исторических исследованиях понятий без четкого определения, без эмпирической и операционной интерпретации, предубеждение к гипотезам, системному анализу объекта исследования и вообще к определенной формализованной программе научного поиска. Неприятно звучит для уха историка слово «формализация». Но в настоящее время формализация процесса исследования — важнейший путь повышения уровня исторического знания и научного статуса истории среди других наук. На этот путь стало большинство наук, которые начинали, как и история, с интуитивного поиска истины, с беллетристического изложения своих научных результатов: философия (ведь когда-то греческие философы излагали трудные истины в форме непринужденного диалога), социология (сочинения первых социологов, например О. Конта и Г. Спенсера, которыми зачитывались тысячи людей в разных странах, были написаны в прекрасной литературной форме), география и т. д. В области формализации процесса исследования социология тоже может оказать истории существенную помощь, так как использует и стандартные процедуры, и формализованную программу научного поиска. Не заменить, а дополнить здравый смысл, воображение, интуицию, понимание и сопереживание изучаемых исторических событий строгой методикой и процедурой анализа — такая задача стоит перед современным историком.

Существует еще одна проблема, стоящая до некоторой степени преградой перед историком, использующим социологический подход, — презентистская. Презентизм — это навязывание людям прошлого современного ви́дения мира, современных воззрений на закон, мораль, разумное поведение, власть, престиж и т. д. Как заметил В. О. Ключевский, «мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. *Следовало бы наоборот* (курсив наш.— *Б. М.*)».

В чем суть проблемы презентизма в контексте сотрудничества истории с социологией? Социологическая наука сравнительно с исторической чрезвычайно молодая, поскольку она сложилась только в XIX в. По мере ее

превращения в эмпирическую и экспериментальную науку она все более теряла связь с историей и развивалась в науку, главный интерес которой — решение актуальных практических общественных проблем. Поэтому современная прикладная социология изучает преимущественно настоящее, ее методика, понятийный аппарат, концепции и специальные теории формируются почти исключительно на основе исследований современных вопросов, в ходе полевых и лабораторных наблюдений и экспериментов. В силу этого она лишь в слабой степени практикует исторический подход. Это и накладывает серьезное ограничение на использование ее опыта историками, изучающими не текущую историю, а достаточно отдаленное прошлое. В ходе истории изменяются политические учреждения и институты, законы и нормы поведения, моральные требования к человеку и система его ценностей. Но самое, пожалуй, существенное применительно к обсуждаемой нами проблеме состоит в том, что изменяется не только содержание человеческого сознания, но и его строение, структура, отчасти механизмы его работы. Поэтому механическое перенесение методики, понятий, теорий, концепций социологии в историческое исследование может привести к упрощенчеству, социологическому вульгаризаторству, к неправильному объяснению мотивов, социальных ориентаций, системы ценностей и других важных социально-психологических характеристик.[6]

Таковы вкратце некоторые из важнейших проблем, стоящих перед историком, использующим в своих научных исследованиях социологический подход. В книге рассмотрены возможные приемы решения этих проблем.

---

[1] *Ключевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 329, 327.

[2] Рабочая книга социолога. М., 1977, с. 8—19.

[3] *Кон И. С.* История в системе общественных наук. — В кн.: Философия и методология истории. М., 1977, с. 12—13.

[4] *Гуревич А. Я.* Об исторической закономерности. — В кн.: Философские проблемы исторической науки. М., 1969, с. 51—79.

[5] *Кон И. С.* История и социология. — Вопросы философии, 1970, № 8, с. 79—90; *Барг М. А.* Проблемы социальной истории: В освещении современной западной медиевистики. М., 1973, с. 22—28.

[6] См., например: *Белявский И. Г.* Некоторые итоги изучения идеологии участников крестьянской войны 1773—1775 гг. в России. — Вестн. МГУ. Сер. 8, ист., 1978, № 3, с. 44.

В МАСТЕРСКОЙ ИСТОРИКА И СОЦИОЛОГА

Благо везде и всюду зависит от соблюдения двух условий: 1) правильного установления конечной цели всякого рода деятельности и 2) отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.

Аристотель

СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ

Как историк, так и социолог проводят свои исследования примерно по такому плану:

1. Разработка программы исследования.
2. Изучение историографии данной проблемы.
3. Отбор объектов исследования и единиц наблюдения.
4. Составление методики сбора данных и ее проверка.
5. Сбор данных.
6. Источниковедческий анализ собранных данных.
7. Составление программы обработки данных.
8. Обработка собранных данных.
9. Анализ обработанных данных и формулирование выводов.

Как видим, основные этапы исторического и социологического исследований как будто одни и те же, но в реализации их имеются специфические особенности. Анализ содержания отдельных стадий исследования показывает, что наиболее существенные отличия наблюдаются на первом этапе: в разработке программ исторического и социологического исследований. В чем состоят эти отличия?

Полная, или идеальная, программа социологического исследования включает следующие элементы: 1) определение проблемы, объекта и предмета исследования; 2) определение цели и задач исследования; 3) интерпретация основных понятий; 4) предварительный системный анализ объекта исследования; 5) рабочие гипотезы; 6) определение основных процедур сбора и анализа данных.[1]

Социолог начинает составление программы с формулировки проблемы исследования, то есть с постановки

сложного теоретического или практического вопроса, требующего изучения и разрешения. Затем выбирает объект исследования (социальный процесс, область социальной действительности и т. д.), в котором в скрытом виде содержится ответ на поставленный вопрос. Если предмет исследования многогранен и сложен, то для непосредственного изучения выделяются некоторые его свойства, стороны, особенности, наиболее важные и значимые для решения проблемы. После этого социолог формулирует цель своего исследования, теоретическую или практическую, и задачи, основные и дополнительные. Постановка цели и задач диктует тот или иной *характер исследования* — разведывательный (когда об объекте ничего неизвестно), описательный (когда об объекте кое-что известно) и объяснительный (когда объект уже достаточно изучен) — и соответственно то или иное направление научного поиска.

На следующей стадии разработки программы социолог выделяет ключевые понятия, выражающие узловые моменты данной проблемы, и ищет точки их соприкосновения с реальной действительностью, то есть с теми событиями, процессами, явлениями, которые отражаются в этих понятиях. Это называется *интерпретацией основных понятий.* Определение и нахождение реальных, конкретных признаков, значений, понятий составляет *эмпирическую* интерпретацию понятий, а определение процедуры фиксирования этих эмпирических признаков понятий — их *операционную* интерпретацию.

Вслед за этим социолог расчленяет объект исследования на отдельные элементы и устанавливает между ними взаимосвязи таким образом, чтобы вместе они образовывали некоторое целостное единство. Это называется предварительным *системным анализом* объекта исследования. Благодаря этому объект анализа становится более четким и определенным, недвусмысленно выраженным, имеющееся знание о предмете изучения — систематизированным, дальнейший путь поиска нового знания — ясным.

Далее социолог выдвигает *рабочие гипотезы* — обоснованные предположения о структуре изучаемых социальных объектов, явлений, процессов и характере зависимостей между ними. Гипотеза объясняет изучаемое явление и благодаря этому дает предварительный ответ на основной вопрос исследования. Она представляет собой важнейший

инструмент анализа: направляет весь процесс исследования по определенному руслу, подчиняя его внутренней логике. Гипотеза указывает и на то, какие данные и в каком количестве нужны для ее проверки и как эту проверку возможно произвести. Вследствие этого определение основных процедур сбора и анализа первичных данных обусловливается выдвинутой гипотезой.

Программа исторического исследования (кстати, отметим, что сложившаяся традиция в работе историков не требует ее наличия в публикуемом тексте, хотя практически большинство историков имеют рабочий план) зачастую не содержит трех важнейших элементов из программы социологов: интерпретации понятийного аппарата, предварительного системного анализа объекта исследования и рабочих гипотез. Без этих элементов программы историческое исследование, как правило, многое теряет, его выводы не формулируются в четких научных понятиях, а результаты слабо координируются с другими подобными работами, поскольку слишком произвольны в исходных понятиях, критериях оценки, интерпретациях полученных выводов.

Между тем научной истории требуется выработка такой системы логических процедур, с помощью которых каждый историк-профессионал, повторяющий уже выполненное исследование и придерживающийся аналогичных процедур, должен прийти к тем же выводам. «И тот факт, — справедливо полагает М. А. Барг, — что историческая наука далека от соблюдения этого элементарного правила, более того, что последнее многими историками подвергается сомнению, лучше всего свидетельствует о состоянии познавательных средств истории».[2]

Многие историки считают, что наличие строго формализованной программы исследования пойдет во вред историческому анализу и самой истории как науке, которая будто бы при этом потеряет свое лицо. Они опасаются, что формализация процесса исторического исследования сделает то же, что она сделала с другими социальными науками: сведет к минимуму эстетическую, моральную, художественную, эмоциональную сторону жизни и подменит анализом представление о моральных и интеллектуальных ценностях.[3]

Конечно, немало и таких историков, которые стремятся провести хотя бы для себя интерпретацию основных

понятий, выделить и связать отдельные стороны изучаемого объекта в систему, выдвинуть рабочую гипотезу. Однако, поскольку эти элементы программы исследования не являются обязательными и не всем историкам представляются условием успешной работы, делается это зачастую нечетко, неопределенно, несовершенно.

Особенно не повезло в исторических исследованиях гипотезе. Некоторые историки не только избегают ею пользоваться, но даже третируют гипотезу как некое зло, поскольку она якобы ведет к предвзятости, субъективизму, подгонке фактов под заранее выработанные схемы. Если исследователь действительно ищет истину, то гипотеза не только не вредит, а помогает ему с минимальными усилиями решить поставленные вопросы. Недобросовестный исследователь и без гипотезы может подогнать собранные факты под ту или иную схему. По мнению Ф. Энгельса, именно наличие гипотезы отличает мыслящее исследование, исследование — поиск от простого описания.[4] Если стремления ученого направлены на поиск нового знания, то лучше держаться такой гипотезы, которая со временем может оказаться неверной, чем не иметь ее вовсе. Проверка гипотезы на фактах не дает шансов для долговременного существования в науке неверных гипотез. Зато правильная гипотеза является важнейшим условием достижения нового знания.[5] При этом замечено: чем большее число гипотез будет последовательно проведено в ходе исследования, тем большей научной значимостью будут обладать его результаты. Как показала история развития науки, гипотеза представляет могучее орудие для исследования общества и природы.

Рассмотрим процедуру выдвижения и доказательства гипотезы на конкретном примере.

Имеющиеся в распоряжении историков данные о хлебных ценах в России рисуют следующую картину их движения за 360 лет, с середины XVI по начало XX в. (цены 1701—1710 гг. = 100) :

	1551—1560 гг.	1591—1600 гг.	1651—1660 гг.	1701—1710 гг.	1791—1800 гг.	1845—1854 гг.	1901—1910 гг.
Индекс цен	170	160	160	100	555	600	1940

Индекс цен — показатель общего уровня цен, он характеризует изменение цен во времени относительно базового периода, принимаемого за 100.

Сопоставление динамики цен в России и Западной Европе показывает, что во второй половине XVI—первой половине XVII в. цены в Европе повышались — происходила так называемая революция цен, а в России снижались. Во второй половине XVII в. и в России, и в Европе цены понижались. В первой половине XVIII в. в Европе цены продолжали снижаться, а в России начали бурно расти. Во второй половине XVIII в. в России продолжался стремительный рост цен, в Европе же наблюдалось медленное повышение цен — примерно на 40—80% в разных странах. В XIX—начале XX в. в Европе и в России имело место синхронное изменение цен.

Приведенные сведения показывают, что Россия осталась в стороне от революции цен в Западной Европе, проходившей там во второй половине XVI—первой половине XVII в. Зато в XVIII в. в отличие от Европы цены в России повысились в 5—6 раз — примерно настолько, насколько они поднялись на Западе во время революции цен. Возникает предположение: не является ли громадный рост цен в России в XVIII в. запоздавшей на 150 лет революцией цен? Напомним, что сущность революции цен состояла в обесценении денежного металла и громадном увеличении денежной массы (за счет полноценных денег), вследствие чего произошло быстрое и сильное повышение цен на все товары и услуги, хотя и в разной пропорции.

Если основная рабочая гипотеза о запоздавшей революции цен в России в XVIII в. верна, то из нее вытекают следующие выводные гипотезы-следствия: 1) к началу XVIII в. цены на основной денежный металл, серебро, в Западной Европе должны были быть в несколько раз ниже, чем в России; 2) в течение XVIII в. на русском рынке должно было произойти обесценение драгоценных металлов; 3) в XVIII в. в России должна была колоссально возрасти денежная масса, но без существенного обесценения ее за счет инфляции; 4) сельское хозяйство, ремесло и промышленность России не должны были испытывать упадок.

Проверка гипотез-следствий привела к следующим результатам. К началу XVIII в. цены на серебро в России были в 9—10 раз выше, чем в западноевропейских странах, а к началу XIX в. — уже только в 2 раза, вследствие чего произошло почти пятикратное обесценение серебра. За XVIII в. абсолютное количество денег в обращении

в России (в переводе на серебро) увеличилось в 15 раз, а на душу населения — в 7.5 раза. В сельском хозяйстве, ремесле и промышленности России XVIII в. не наблюдалось никаких признаков регресса, напротив, экономика страны прогрессивно развивалась. Таким образом, все четыре гипотезы-следствия подтвердились. Отсюда вытекает, что и основная гипотеза о запоздавшей революции цен в России XVIII в. верна.[6]

Из приведенного примера наглядно видно значение гипотезы в историческом исследовании объяснительного (экпериментального) плана. Гипотеза действительно организовала весь исследовательский процесс. Основная гипотеза о революции цен в России в XVIII в. и выведенные из нее логическим путем гипотезы-следствия направили научный поиск по определенному руслу: мы стали собирать не все вообще данные об экономике — их бесчисленное множество, и все их обработать не под силу одному человеку, даже вооруженному современной вычислительной техникой, — а только те, которые требовались для проверки гипотез-следствий. Содержание гипотез продиктовало также и процедуру обработки и анализа собранных данных. Благодаря рабочей гипотезе исследование поднялось до аналитического уровня, без гипотезы оно осталось бы только описательным. Тщательная проверка гипотезы гарантирует достоверность окончательных выводов и исключает возможность закрепления или широкого распространения в историографии недоказанных, сомнительных или неверных гипотез.

Историки нечасто проводят и предварительный системный анализ объекта исследования. Между тем системный анализ может быть весьма полезным для историка, поскольку позволяет как бы «проявить» образ предмета исследования, сделать его ясно выраженным, более четким и определенным.

Изучается, к примеру, экономическое поведение русского крестьянина XIX в. *Экономическое поведение* — это такая система хозяйственных действий производителя, в которой проявляются цели экономической деятельности и способы их реализации. Говоря же конкретно об экономическом поведении русского крестьянина XIX в., мы имеем в виду систему его хозяйственных поступков как отражение внутренних и внешних побуждений. С точки зрения внутренних побуждений экономическое поведение крестьянина

можно рассматривать как реализацию его хозяйственных целей, отношения к труду, богатству, собственности, как проявление его мировоззрения, системы ценностей, представлений, наконец, как производную от уровня его культурного и интеллектуального развития. С точки зрения внешних побуждений экономическое поведение крестьянина можно рассматривать как осуществление требований к нему со стороны общины, помещика, государства и природной среды. Поскольку почти вся жизнь русского крестьянина в XIX в. проходила в рамках общины, то его экономическое поведение целесообразно изучать преимущественно внутри общины, учитывая при этом, что, несмотря на замкнутость крестьянского мира, последний имел значительные и существенные для него внешние связи, прежде всего с городом и рынком. Данная выше развернутая характеристика изучаемого объекта — экономического поведения крестьянина — позволяет выделить в нем ряд аспектов и связать их в определенную систему, удобную для дальнейшего анализа.

Выделим следующие стороны (аспекты) объекта исследования: 1) отношение крестьянина к труду; 2) отношение крестьянина к собственности; 3) отношение крестьянина к нововведениям; 4) культурное и умственное развитие крестьянства; 5) община в ее отношении к экономическому поведению крестьянина; 6) помещик и государство в их отношении к экономическому поведению крестьянина; 7) церковь и религиозные представления крестьянина в их отношении к экономическому поведению крестьянина; 8) природная среда (климат, естественное плодородие почвы, количество земли, леса) в ее отношении к экономическому поведению крестьянина; 9) город и рынок в их отношении к экономическому поведению крестьянина; 10) состояние сельского хозяйства России в XIX в.

Первые три аспекта объекта предполагаемого исследования составляют основное его содержание. Семь следующих сторон выступают по отношению к предыдущим и, следовательно, к самому объекту — экономическому поведению крестьянина XIX в. — либо как условия его существования, либо как факторы и причины экономического, социального и культурного порядка. Последний, десятый, аспект является по отношению к объекту и группе аспектов, раскрывающих его основное содержание, следствием или результатом. Все выделенные стороны

объекта изучения образуют логическую цепь: группа факторов создает определенный тип экономического поведения, которое реализуется в конкретных хозяйственных результатах, а в итоге — в состоянии сельского хозяйства. Таким образом, экономическое поведение сначала выступает как результат действия совокупности условий и факторов (при доминирующем влиянии социально-экономических факторов), а затем как причина по отношению к состоянию сельского хозяйства. То или иное состояние сельского хозяйства можно рассматривать как результат определенного экономического поведения и определенного хозяйственного образа мыслей сельских тружеников. Факторы и условия, в которых приходилось работать земледельцам, влияли (способствуя или препятствуя) на развитие сельского хозяйства не сами по себе, а опосредованно: они превращались в установки экономического поведения крестьян и затем только через него материализовывались в состояние сельского хозяйства. Экономическое поведение крестьянина является тем необходимым звеном, которое связывает в единую причинно-следственную цепь факторы развития сельского хозяйства, с одной стороны, и его состояние — с другой. Без учета этого положения экономический прогресс в сельском хозяйстве представляется как бы автоматическим, происходящим помимо воли, желания и участия непосредственных производителей, в действительности же его творцов.

«...Экономическое положение не оказывает своего воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет, — подчеркивал Ф. Энгельс, — а люди сами делают свою историю, однако в данной, их обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных отношений, среди которых экономические условия, как бы сильно ни влияли на них прочие — политические и идеологические, — являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию».[7]

Расчленив объект изучения на качественно различные элементы, связанные, однако, в некоторую систему, мы тем самым преобразовали его в предмет целенаправленного изучения. При этом изучаться могут не все элементы и связи между ними, а лишь те, которые либо особенно интересуют исследователя, либо достаточно фундированы

источниками. А направление, в котором избранные элементы будут анализироваться, определится в рабочих гипотезах исследования.

Мало практикуется пока историками процедура, называемая социологами эмпирической и операционной интерпретацией понятийного аппарата исследования. Эта процедура преследует цель, близкую и историку, — дать по возможности четкое определение понятий, используемых ученым в его работе. Отсутствие полной ясности и четкости в понятиях нередко ведет к двусмысленности, излишним спорам, нечеткости и неясности выводов. А между тем самые сложные понятия поддаются точному определению, что существенно облегчает дальнейшее исследование и повышает его аналитический уровень. Возьмем, например, такое сложное понятие, как отношение русского крестьянина XIX в. к труду (в предварительном системном анализе объекта исследования — экономического поведения — отношение к труду выступало как один из основных аспектов этого объекта).

Отношение к труду — это понимание производителем значения, цели, назначения труда, это мотив и степень заинтересованности в трудовой деятельности; это качество, количество, интенсивность труда, признаваемые за норму.[8]

Основываясь на этом определении отношения к труду, попробуем наметить *эмпирические признаки*, которые помогут найти в источниках данные, характеризующие крестьянское отношение к труду, и оценить его. *Объективными* или внешне выражаемыми признаками отношения к труду могут служить качество и количество труда, производительность и организация труда, товарность и бюджет крестьянского хозяйства.

Отношение к труду могут характеризовать также и *субъективные* признаки: ценностная направленность (труд — потребность, цель и пр.), мотивы трудовой активности, состояние удовлетворенности крестьянской работой.

Теперь попытаемся решить следующий вопрос: каким образом можно фиксировать выбранные эмпирические признаки отношения к труду в источниках и как эти признаки можно выразить количественно, превратив в показатели?

Качество труда русского крестьянина в источниках XVIII—XIX вв. обычно характеризуется как хорошее, посредственное, плохое или другими, но близкими по

смыслу словами: «пашет абы как», «работает изрядно», «пашет плохо». В XIX в., не говоря уже о более раннем времени, качество крестьянского труда в своем или чужом хозяйстве не выражалось более точным способом, поэтому и историк не может измерить качество труда иначе. Однако и эта трехчленная шкала — качество хорошее, посредственное, плохое — поможет достаточно точно оценить качество труда.

Количество труда можно учесть, основываясь на трудовых затратах крестьян по месяцам и в целом за год, на количестве праздников, величине барщины в крепостное время, на темпе работ и т. д. Можно сконструировать и такой показатель, как напряженность труда, — отношение фактически произведенных трудовых затрат к «запасу» труда, то есть к тому, сколько человек может работать без ущерба для здоровья в течение года.

Производительность труда крестьян может характеризоваться урожайностью, а еще лучше доходностью хозяйства на единицу трудовых затрат. Данные о том и о другом имеются в источниках XIX в. и более раннего времени. Однако сами по себе данные об урожайности и доходности крестьянского хозяйства не могут служить достаточным основанием для заключения об эффективности труда. Для вывода о том, что крестьянский труд высокопроизводителен, малопроизводителен или непроизводителен, необходимо конкретные данные об урожайности или доходности хозяйства представить в сравнительном виде, то есть привести к общему показателю. Одним из таких показателей может быть максимально возможная урожайность или доходность хозяйства при данных социально-экономических условиях, то есть в тех условиях и в то время, для которого исследователь оценивает производительность труда. Другим показателем может служить предельная урожайность и доходность хозяйства, когда-либо достигнутая человеком при тех же природно-климатических условиях. В первом случае нужно сравнивать среднюю, типичную производительность крестьянского труда с производительностью труда лучших крестьянских и помещичьих хозяйств того времени в России, во втором — с самой высокой производительностью труда, достигнутой в сельскохозяйственном производстве фермерского типа за границей.

Организация труда (как крестьянин распределяет

свое время между различными работами, чередуя труд и отдых, строит режим рабочего дня, готовится к работе), а также степень трудовой активности, инициативы, желания трудиться быстро и хорошо тоже нашли отражение в источниках, преимущественно в беллетристике и публицистике. Но оценить степень организации труда с количественной определенностью трудно. По-видимому, можно говорить лишь о большей или меньшей рациональности в организации крестьянского труда в своем хозяйстве, где крестьянин был более или менее предоставлен сам себе. Поэтому, как и в случае оценки качества труда, можно воспользоваться шкалой порядка: оценивать организацию труда как хорошую, среднюю, плохую. В качестве же критерия этой трехчленной оценки можно принять степень рациональности организации труда, а в случае наличия данных — отношение потерянного времени, вызванного недостатками в организации труда, к общей величине рабочего времени.

Значительно сложнее найти эмпирические признаки и показатели субъективной стороны в отношении крестьян к труду. Однако и здесь имеются определенные возможности. Так, определить, чем для крестьян является труд, выявить мотивы трудовой деятельности и состояние удовлетворенности крестьян своей работой можно, основываясь на замечаниях современников, хорошо знавших крестьянскую жизнь, на материалах художественной литературы и фольклора. Эти материалы на первый взгляд противоречиво характеризуют крестьянина. Но противоречиво — не значит недостоверно. Крестьянство было многолико. А задача состоит в том, чтобы выявить доминирующие тенденции отношения к труду в сознании крестьянства XIX в. Об этом можно будет судить по степени распространения тех или иных свидетельств современников. Для более адекватной оценки целесообразен, в частности, контент-анализ пословиц — количественный анализ их содержания. С этой целью нужно выделить корпус крестьянских пословиц и поговорок о труде и определить удельный вес тех, которые характеризуют труд как радость или горе, как необходимость или божью кару, выражают активное или пассивное отношение к труду, заинтересованность в нем или равнодушие, мотивы, удовлетворенность трудом. Количественное преобладание той или иной группы пословиц даст

определенное основание для суждений о трудовой морали крестьянства рассматриваемого времени.

Количественным показателем *удовлетворенности* крестьян сельскохозяйственным трудом могут служить статистические данные об отходе на несельскохозяйственные работы, о промыслах и миграциях в город. Такие сведения имеются для большей части XIX в. Динамика этих показателей во времени будет свидетельствовать об изменениях отношения крестьян к деревенской работе, а доля отходников, промысловиков и мигрантов в общем количестве сельских тружеников укажет на степень удовлетворенности ею. Подобные сведения имеют, правда, существенный недостаток. Они не могут ответить на вопросы: чем крестьянин не удовлетворен — содержанием своего труда, малой его доходностью или своим статусом крестьянина? Однако при наличии иных данных об отношении крестьян к труду статистика отходничества и миграции из деревни может оказаться очень полезной.

О мотивах труда возможно судить по товарности и бюджету крестьянского хозяйства. При господстве потребительского мотива труда, когда труд рассматривается преимущественно как источник пропитания, можно полагать, что крестьянин будет продавать на рынке лишь незначительную часть произведенной им продукции, а вырученные деньги тратить исключительно на уплату податей и повинностей, а также на покупку самых необходимых в хозяйстве потребительских товаров. При ином доминирующем мотиве труда товарность и бюджет должны быть другими. Например, если главный мотив труда — прибыль, можно ожидать, что товарность крестьянского хозяйства будет высокой, а в бюджете большое место займут затраты на улучшение хозяйства, повышение его эффективности, на увеличение размеров собственности и ее доходности.

После проведения эмпирической и операционной интерпретации понятия «отношение к труду» можно значительно эффективнее и целеустремленнее работать с источниками, потому что становится яснее, какие данные и для чего нужны. Анализ собранных данных и выводы работы тоже станут более четкими и определенными, поскольку понятны исходные посылки автора и смысл, вкладываемый им в содержание ключевых понятий исследования.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ: ОТНОШЕНИЕ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА К СОБСТВЕННОСТИ

Отношение к собственности, как указывалось выше, составляет важнейший аспект экономического поведения. Под отношением к собственности имеется в виду отношение к богатству, деньгам, средствам производства, представление об источниках и назначении собственности. Отношение к собственности является важным элементом производственных отношений и потому определяется и изменяется вместе с последними. Каждая общественно-экономическая формация порождает свой тип отношения к собственности, который умирает вместе с ней.

В условиях русской пореформенной деревни теоретически возможны были два типа отношения крестьянства к собственности или два типа имущественных отношений — буржуазный и патриархальный. Для первого типа характерен взгляд на собственность как на источник богатства, власти, силы: собственность украшает человека, чем богаче он, тем больший общественный вес имеет. Поэтому человек с буржуазным отношением к собственности всеми средствами стремится к ее увеличению. Собственность, по его представлению, должна самовозрастать, приносить прибыль, быть в обороте, «работать» на своего хозяина, иначе она бесполезна, как яблоня, не приносящая плодов. Труд для буржуа — в разных его видах — ради увеличения собственности составляет если не смысл, то важнейшую задачу жизни. Для него частная собственность священна, неприкосновенна, она — гарантия свободы личности.

Напротив, для патриархального отношения к собственности характерен потребительский подход к ней. Собственность предназначена для того, чтобы кормить человека, обеспечить его средствами к жизни. Использование ее для обогащения или эксплуатации неразумно, а в некоторых случаях и греховно. Накопление богатства не имеет особого смысла, так как владение большой собственностью не является гарантией признания, авторитета и общественного веса, не помогает оно и осуществлению главных целей жизни. Если об *отношении к собственности* русского мирского крестьянина пореформенного периода судить

по данным современников, то оказывается, что оно ближе к патриархальному, чем буржуазному типу.

Взгляд на собственность в религиозном сознании крестьян был тесно связан с *отношением к богатству*, с пониманием ими цели и смысла жизни. Для большинства земледельцев богатство не представляло самодовлеющей ценности, не составляло оно и цели его жизни, потому что само земное существование как временное состояние было, по их мнению, лишь подготовкой к загробной жизни — вечному блаженству или вечному мучению в потустороннем мире. В соответствии с христианским мировоззрением они должны были земную жизнь прожить так, чтобы подготовить себе вечное блаженство. Но не богатство, а бедность обеспечивала загробное спасение: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие». Имущество — воплощение земных, мирских интересов — отвлекает человека от мыслей о спасении души. Богатство, порождая эгоистические чувства, вражду и борьбу за обладание им, препятствует любви к богу.

Подобный взгляд на богатство, навязываемый церковью, по мнению многих современников, оказал существенное влияние на формирование крестьянского отношения к собственности. Назначение собственности — кормить человека. Использование ее в других целях — для эксплуатации неимущих, обогащения — долго казалось мирскому крестьянству предосудительным; собственность, включая землю, — не капитал, приносящий доход или прибыль, а средство пропитания. Поэтому человек, полагали крестьяне, должен владеть лишь тем, что ему действительно необходимо для удовлетворения своих минимальных потребностей.

По буржуазному праву собственность есть владение, распоряжение и пользование имуществом. При этом разные функции собственности могли принадлежать различным лицам. Крестьяне не обладали развитым абстрактным мышлением и столь развитым правосознанием, чтобы различать эти функции. Согласно их представлениям, вся земля должна принадлежать им, то есть общине — миру, потому что они на ней работали и ею пользовались.

По мнению многих современников, собственность не воспринималась крестьянами как безличное богатство

или имущество вообще. Она всегда должна кому-то принадлежать и использоваться, к ней должен быть приложен личный труд. Все, к чему труд не был приложен, например лес, фруктовые плоды и пр., рассматривалось крестьянами «как божья вещь» или «ничья вещь», пользование которой никому не возбраняется. Поэтому порубка леса, сбор фруктов, пастьба скота на «диком» лугу (хотя он кому-то и принадлежал) не считались крестьянами нарушениями права собственности. Отсюда же происходило в среде земледельцев и своеобразное понятие воровства, которое расходилось с официальным: «Все, к чему не приложен труд и что не представляет благоприобретенного капитала, — воровать не грех. Все добытое трудом, убереженное уходом, выработанное умением и искусством становится неприкосновенным», — писал С. В. Максимов.[9]

Собственность, нажитая чужим трудом, вроде господской и поповской, считалась крестьянами «подозрительной собственностью», и с точки зрения их правосознания не являлась неприкосновенной. Крестьяне считали возможным пользоваться ею втайне от господ. Втайне потому, что ее охранял официальный закон. Вот одна из важных причин того, почему с отменой крепостного права шел нескончаемый поток жалоб помещиков на самовольные захваты крестьянами земли, на порубки, потравы, хищения полевых плодов и фруктов.[10]

Таким образом, в качестве главного источника собственности крестьянское правосознание выдвигало *личный труд*. Логическое развитие этого принципа приводило к мысли, что если труд приложен к невозделанной земле, то земля должна перейти в собственность того, кто ее обработал. Глубокое убеждение крестьян, что вся земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает и кого она кормит, как раз и порождено двумя главными принципами крестьянского правосознания: собственность — всегда результат личного труда; назначение собственности — кормить человека, а не служить средством эксплуатации других или средством удовлетворения «прихотей» и «затей». Это правосознание проявилось в лишенной какого-либо основания вере крестьян (вплоть до революции 1905—1907 гг.), что земля, оставшаяся за помещиками после 1861 г., вскоре перейдет труженикам.[11]

Отношение крестьянина к собственности включает также такие моменты, как степень расчетливости, рацио-

нальности в обращении с землей, инвентарем и пр., уважение или игнорирование права собственности других лиц. Согласно свидетельствам некоторых современников, земледельцы не проявляли ни умелой бережливости к своей, ни уважения к чужой собственности: «Трудно требовать от крестьянина уважения к чужой собственности в то время, когда он не умеет ценить свое, когда он сплошь и рядом производит бессмысленную порчу своих садовых и лесных насаждений, допускает крайнюю неряшливость в хранении хозяйственных продуктов, небрежное и неумелое обращение со своим живым и мертвым инвентарем и проч.».[12]

По мнению многих современников, в небрежном обращении со своей собственностью сказывалась нерасчетливость хозяйствования, наивная беспечность, недостаточная культурная развитость земледельцев. В случаях же нарушения прав чужой собственности — прежде всего помещичьей — помимо этого проявлялся и социальный антагонизм: крестьянин, считая ее «подозрительной собственностью», то есть нечестно нажитой чужим трудом, полагал, что он может с чистой совестью воспользоваться ею, так как либо он, либо его предки участвовали в ее создании. Частые же покушения на государственную собственность явились также следствием ее, так сказать, анонимности: крестьянин плохо представлял такого абстрактного хозяина, как государство. В нерасчетливом обращении и со своей, и с чужой собственностью обнаруживается и общая причина — патриархальность экономического поведения крестьянина, его наивная уверенность в неисчерпаемости природных ресурсов и ставшая анахронизмом в условиях развивающегося капитализма, но демократическая по своей глубочайшей сути убежденность в том, что все сущее принадлежит тем, кто работает.

Современники считали, что всем видам собственности крестьяне предпочитали землю. «Народ все-таки считает капитал чем-то более шатким, чем земля, чем-то, что может скорее, чем земля, выскользнуть из рук, хотя бы благодаря соблазнам, которым он подвергает», — тонко подметила дореволюционный этнограф О. П. Семенова-Тян-Шанская.[13] Однако не одни только рациональные соображения обусловливали любовь крестьянина к земле. Большую роль играло и эмоциональное восприятие: земля для него была

не только источником пропитания, но и родиной, со своею историей, традициями, обычаями и верованиями.

В качестве парадокса некоторые современники отмечали, что отмена крепостничества мало изменила отношение крестьян к земле. Одна из важнейших причин такого положения, по их мнению, состояла в том, что ни до, ни после 1861 г. крестьянин не стал истинным субъектом собственности, земля с отменой крепостного права попрежнему принадлежала не ему: община присвоила правомочия помещика или государства. Вторая причина заключалась в сохранении юридической обособленности крестьян после 1861 г. от остальных сословий, вследствие чего обычное право оставалось главным источником правовых представлений деревни.

Отсюда другой парадокс в отношении крестьянина-общинника к земле после 1861 г.: став субъектом права, он не стал собственником земли, поскольку надельная земля, на которой трудился крестьянин, принадлежала общине. Сама же надельная земля не являлась частной собственностью, не была она и коллективной. Общинная собственность представляла собой особую форму, в которой имелись признаки и частной, и коллективной собственности. Коллективизм общинной формы собственности проявлялся в следующем: 1) земледельцы сообща вырабатывали принцип разверстки земли: по тяглам, по мужским душам, по едокам и т. д.; 2) земля под контролем всех общинников разделялась между хозяйствами; 3) община ограничивала свободу распоряжения землей: аренду, залог, наследование и пр.; 4) община коллективно принимала ту или иную систему севооборота, делила землю на поля и т. д. Признаки частной собственности можно усмотреть в том, что право на владение землей принадлежало отдельным крестьянам и что пользование землей тоже совершалось индивидуально. Таким образом, крестьяне распоряжались землей и вырабатывали принципы землевладения коллективно, а само владение и землепользование осуществлялись индивидуально.

Общинная форма собственности вместе с юридической обособленностью крестьянства в пореформенное время стала важнейшей причиной, тормозившей формирование у него буржуазного отношения к собственности, — к такому выводу пришло большинство местных комитетов в 49 губерниях, работавших в начале XX в. под эгидой

Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. «Традиционно убежденный, что земля принадлежит не лично ему, а миру, крестьянин легко обобщает это понятие и, перенося его на естественные продукты земли, считает последние принадлежащими столько же миру, сколько самому богу, а потому и признает эти продукты одинаковой собственностью для всех. Такое мировоззрение... является весьма благоприятной почвою для земельных захватов, лесных порубок, самовольных пользований и других нарушений права собственности. Поэтому для борьбы с указанными явлениями безусловно необходимо укрепить и развить в крестьянах чувство законности и уважения к индивидуальной собственности, а это достижимо лишь при условии ослабления общинного начала».[14]

Вместе с тем имеющиеся данные не позволяют и преувеличивать степень патриархальности в отношении крестьян к собственности. В течение всего XIX в., а особенно в пореформенное время, у них всякий раз обнаруживалось сильно развитое сознание права собственности, когда дело касалось интересов самих земледельцев. Крестьяне проявляли неистощимое терпение и поразительную настойчивость при отстаивании хотя бы вершка принадлежавшей им земли, в поисках пропавшей курицы или барана. Они могли избить нарушителя границы их владения и добиться уплаты штрафа, даже если обидчик был их односельчанином, и т. д. И все-таки крестьяне с большим уважением относились к собственности своих собратьев, чем к собственности, принадлежавшей представителям других сословий. Жалобы на нарушения права собственности происходили в основном со стороны частных землевладельцев: помещиков, купцов и пр. Это доказывает, что развитие буржуазного отношения к собственности в среде крестьян задерживалось не только существованием общинной, но и в неменьшей степени наличием привилегированной помещичьей собственности, постоянно как бы провоцировавшей земледельцев на нарушение права собственности. Обособленность же крестьянства, в том числе правовая, консервировала черты патриархальности в его сознании, препятствуя проникновению в деревню нового буржуазного понимания права собственности.

По мере распадения общины, проникновения буржуаз-

ного права в деревню и изживания иллюзий об улучшении положения «по мании царя» формирование буржуазного отношения к собственности в среде крестьянства сильно ускорилось. Однако вплоть до 1917 г. отношение большинства крестьян-общинников к собственности оставалось в значительной мере патриархальным, «натуральным», потребительским. К такому выводу приводит анализ имеющихся в дореволюционной литературе сведений по данному вопросу.

Сделанный выше вывод о патриархальном отношении крестьян к собственности опирается либо на отрывочные свидетельства современников, либо на такие массовые сведения, которые исходили из среды господствующего класса и потому несли на себе печать их отношения к событиям и фактам того времени.[15] Поэтому данный вывод следует рассматривать как гипотезу, которая нуждается в проверке. Для того чтобы проверка гипотезы прошла успешно, необходимо прежде *выделить эмпирические признаки* отношения крестьян к собственности и выразить их в количественной форме (то есть провести эмпирическую и операционную интерпретацию понятия «отношение к собственности»).

Объективными эмпирическими признаками отношения к собственности могут служить: 1) нарушения крестьянами права собственности и 2) сельская кооперация. Но отношение крестьянина к собственности может быть обнаружено и через эмпирические признаки субъективного характера: 1) ценностные установки на значение собственности или богатства в жизни (собственность — главная жизненная цель или средство достижения иных, нематериальных, целей и др.); 2) мотивы приобретения или сохранения собственности (пропитание, прибыль и пр.). Качественно-количественный анализ фольклора, например пословиц, позволяет в той или иной степени выявить эти установки и определить их соотносительное значение для крестьянина. Ограничимся рассмотрением объективных эмпирических признаков.

Каким образом и почему данные о нарушениях права собственности могут проверить гипотезу об отношении к ней крестьянства? Если в правосознании крестьянства господствовали патриархальные идеи собственности, то они должны были в той или иной мере способствовать нарушениям (с точки зрения официального права) права

собственности некрестьян. Вследствие этого в структуре преступности крестьянства удельный вес правонарушений против собственности должен быть высоким, превышая соответствующие показатели у городских сословий, в среде которых буржуазное отношение к собственности в силу большего развития капитализма в городе было развито сильнее.

Данные уголовной статистики показывают, что в структуре преступности у крестьянства удельный вес правонарушений против собственности был действительно больше, чем у других сословий: в 1830-е гг. у крестьян — 21%, у других сословий — 16%; в 1900-е гг. — соответственно 17 и 10% (хотя общий уровень преступности в деревне был неизменно ниже).[16] Тем самым гипотеза о доминировании патриархального отношения к собственности в среде крестьян-общинников подтверждается. Вместе с тем приведенные данные свидетельствуют о том, что в течение пореформенного времени доля правонарушений против собственности неуклонно снижалась. Это указывает на то, что наметился переход от патриархального к буржуазному отношению к собственности.

Динамику отношения крестьянства к собственности особенно хорошо отражают данные о сельской потребительской и кредитной кооперации и сберегательных кассах. Первые характеризуют динамику связи крестьянства с капиталистическим рынком, вторые и третьи — динамику связи с капиталистическим кредитом (или динамику распространенности кредита в крестьянской среде). Оба эмпирических признака — связь с рынком и распространенность кредита — имеют большое значение для понимания эволюции отношения земледельцев к собственности.

Капиталистический кредит — это ссуда денег как капитала. Пользование кредитом подразумевает понимание и, что очень важно, реализацию заемщиком основных принципов, на которых базируется кредит: процента (дохода на денежный капитал) и предпринимательского дохода (дохода, который получает заемщик после уплаты процента). Вследствие этого крестьянин, пользующийся капиталистическим кредитом, вынужден смотреть на свою собственность, движимую и недвижимую, не как на средство пропитания, а как на капитал, приносящий доход. Причем доход свой он должен считать, предвидеть, бороться за него. В противном случае кредит разорит его

хозяйство. Поэтому масштабы кредитных операций в деревне могут служить показателем степени приникновения в сознание земледельцев буржуазного отношения к собственности, показателем степени обуржуазивания экономического поведения крестьянства.

Данные о развитии кредитных кооперативов показывают, что по-настоящему массовыми они стали в 1906—1910 гг., после революции 1905—1907 гг. и столыпинской реформы 1906 г. Если в 1896—1900 гг. кредитные кооперативы объединяли всего 160 тыс. семей, то к 1915 г. — примерно 10 млн. крестьянских семей, или около 50—65 млн. человек (семья состояла в среднем из 5—6 человек), то есть до 33—43% сельского населения.[17]

Почему же крестьяне стали пользоваться кредитом в массовом порядке только после первой русской революции? Главная причина этого состояла в недостаточном развитии менового и капиталистического хозяйства в деревне до начала XX в. Основными же условиями распространения кредитной кооперации являются сравнительно высокий уровень развития товарно-денежных отношений и тесная связь с рынком. Известный кооперативный деятель А. Е. Кулыжный справедливо заметил: «Переход к денежно-кредитному хозяйству в деревне и техническое обновление крестьянского хозяйства являются основными формами, определяющими успех кооперативного движения в области мелкого сельского кредита».[18] Только отказ от натурального хозяйства создавал у крестьянина ту экономическую психологию, без которой невозможно было правильное функционирование кредитных кооперативов, поскольку последние не создают кредитных отношений, а лишь организуют, концентрируют их. Если в стране еще не развиты кредитные отношения — важный признак развития капиталистических отношений вообще, — то они не могут быть созданы путем искусственного насаждения кредитных кооперативов. До начала XX в. необходимых экономических условий в России для развития кредитных отношений на селе было еще недостаточно. «Натуральному» же крестьянству идея денежного займа, которая являлась одним из краеугольных камней кредитной кооперации, была еще чужда, так как займы в деревне делались преимущественно в форме не меновых ценностей, а потребительных, в форме продуктов сельского хозяйства. В условиях быстрого развития денежного хо-

зяйства крестьяне, привыкшие к натуральному типу хозяйствования, оказались в тяжелом положении, поскольку не умели производительно использовать денежные займы, получать на их основе предпринимательский доход и выплачивать проценты.

Крестьяне смотрели на кредитные кооперативы до поры до времени как на *благотворительные* учреждения и считали, что кооперативы должны делить имеющиеся в их распоряжении деньги между всеми поровну. «Как же это так? Царь деньги всем прислал, следовательно, и делить их нужно поровну», — заявляли крестьяне руководителям кооперативов. Земледелец не понимал, что заём только тогда приносит пользу, когда деньги берутся на какой-либо сельскохозяйственный и торговый оборот, на улучшение производства, получение прибыли, покрывающей не только процент по займу, но и дающей некоторый доход. Поэтому крестьяне, решившие вступить в кооператив (а и таких поначалу было немного), не могли успешно пользоваться кредитом.

Вторым препятствием для успешного развития кредитных отношений в деревне до 1905 г. даже среди состоятельных крестьян, державших копейку на черный день, являлось то, что большей части крестьянства была чужда сама идея процента, прибыли на капитал. В крестьянской среде были распространены беспроцентные займы. Рост, процент — все это считалось делом греховным и незаконным, а на ростовщика (процентщика) смотрели как на человека, посягающего на благо ближнего. Капиталистическое отношение к деньгам — деньги должны приносить прибыль — земледелец считал ростовщичеством, лихоимством, чуть ли не грабежом. Крестьянин, которому была чужда идея процента, не мог понять, что уплата им ежегодных процентов за взятую ссуду совершенно не касается размеров капитального долга. «15 лет тому назад занял у него 100 руб., ежегодно плачу проценты, давно с лишком уплатил, что взял, а он на мне все считает те же 100 руб.» — распространенная жалоба крестьян на заемщиков капиталистического типа. Между тем кредитные кооперативы работали на принципе процента. Поэтому противники кооперативов обвиняли их в том, что они вносят в деревню чуждую ей «идею процента, во многих местностях совершенно неизвестную».[19]

Важной причиной, тормозившей развитие кредитной

кооперации в русской деревне до начала XX в., являлся и крайне низкий уровень народного образования, поскольку для неграмотного человека совершенно недоступны были ни задачи кооперативов, ни основные экономические идеи, лежащие в основе их деятельности. Даже несложное счетоводство товариществ не могло правильно вестись малограмотными членами. Определенное повышение уровня образования в деревне к 1905 г. в этом смысле способствовало вовлечению крестьянства в кредитные кооперативы.[20]

Однако как ни велика была роль образования для усвоения крестьянством идеи кредита, оно отступало на второй план по сравнению со значением экономических и политических условий, в которых жили земледельцы. Экономическое поведение крестьянства тогда только изменилось, когда созрели необходимые экономические предпосылки и когда крестьянство испытало потрясение революции 1905—1907 гг., заставившей его расстаться с иллюзиями и надеждами на помощь со стороны правительства. К началу XX в. физиономия деревни и характер крестьянского хозяйства значительно изменились. К этому времени Россия покрылась густой сетью железных дорог, вовлекших российскую деревню во всероссийский и мировой аграрные рынки, большие успехи сделал промышленный капитализм; многие крестьяне-отходники прошли «капиталистические университеты» в городах и на фабриках. Новые буржуазные формы экономических отношений создали огромную потребность деревни в мелком кредите и одновременно перестраивали экономическую психику крестьянина: он стал понимать, что для успешного хозяйствования необходим оборотный капитал, который можно получить в кредитных кооперативах. Политические уроки, полученные крестьянством в революции 1905—1907 гг., послужили мощным толчком для подготовленного всем предшествовавшим экономическим развитием деревни перехода к новому экономическому поведению, к буржуазному отношению к собственности. Отсюда быстрый прогресс кредитной кооперации после революции 1905—1907 гг. К 1915 г., как мы видели, кредитные кооперативы охватили до трети крестьянства. Конечно, большая часть крестьянства еще и в 1915 г. стояла в стороне от кредитных товариществ. На вопрос: «Состоите ли в товариществе?» — часто слышался ответ: «Нет, слава богу,

и так своего хватает». Это отражает традиционную экономическую психологию человека, который привык видеть в капиталистическом кредите, дающем возможность найти более эффективную сферу применения труда, нечто такое, избежавши чего можно сказать: «слава богу».[21] Однако глубокая брешь в традиционных экономических представлениях крестьянства была сделана — и в деревне начали широко распространяться капиталистические принципы хозяйствования.

То, что это были именно буржуазные принципы хозяйствования, показывает структура использования ссуд, полученных в кооперативных учреждениях за 1912—1913 гг. Крестьяне стали брать кредиты главным образом для расширения хозяйства: для аренды, покупки земли, живого и мертвого инвентаря, создания или расширения кустарного производства. Непроизводительные затраты — личные расходы, уплата долга и пр. — поглощали менее 10% общей суммы ссуды. А такие расходы, как наем рабочей силы и покупка товара для продажи (10% от общей суммы), прямо указывают на предпринимательское назначение кредита.[22] Экономическая психология крестьянства за какие-нибудь 20 лет значительно изменилась, если вспомнить, как использовались ссуды в 1870—1880-е гг.

О развитии буржуазного отношения к собственности красноречиво свидетельствуют и данные о деятельности сберегательных касс. При господстве потребительского отношения к деньгам крестьяне предпочитали хранить их в кубышке и не пускать в оборот. За первые 17 лет существования сберегательных касс в России, с 1842 по 1859 г., все население Европейской России и Сибири вложило в них не более 3.2 млн. руб., их услугами в среднем пользовались менее 50 тыс. городских и сельских жителей.[23] Слабую активность сберегательных касс вряд ли правильно относить целиком за счет отсутствия гражданских прав у крепостного населения. И к 1 января 1871 г. (уже через 10 лет после отмены крепостного права) 64 024 вкладчика положили в кассы всего 4.334 млн. руб. Лишь постепенно, по мере проникновения буржуазных идей в хозяйственную практику крестьян, в частности идеи прибыли на денежный капитал, они стали вкладывать наличные деньги в кассы или процентные бумаги (кстати, тоже через кассы). К 1881 г. на счетах 104 072 человек

находилось 9.055 млн. руб., к 1906 г. на книжках 5.05 млн. человек числилось 928.4 млн. руб. А к 1916 г. 8.927 млн. вкладчиков вложили в сберегательные кассы 2.529 млрд. руб., среди них крестьян было не менее 30%, на их долю приходилась примерно четверть всех вкладов. Для сравнения укажем, что в 1880 г. среди вкладчиков имелось менее 15% крестьян, на их счетах находилось менее 10% общей суммы вкладов.[24] Таким образом, количество крестьян-вкладчиков с начала 1860-х гг. до 1916 г. увеличилось с нескольких тысяч почти до 3 млн. человек. С учетом членов их семей (из расчета 5—6 человек на семью) по крайней мере 10% крестьянского населения хранили деньги в сберегательных кассах и получали процент, что позволяет рассматривать их вклады как денежный капитал.

Важным показателем распространенности буржуазного подхода к хозяйствованию и собственности могут служить и статистические данные о размерах потребительской кооперации в деревне. Сельские потребительские кооперативы главной своей целью ставили снабжение деревни, прежде всего кооператоров, предметами личного потребления. Но, для того чтобы успешно справиться с этой задачей, каждый потребительский кооператив должен был действовать как *капиталистическое коммерческое предприятие.* Поэтому кооператоры, во всяком случае в руководящем звене, для того чтобы их кооператив не прогорел, должны были стать хорошими коммерсантами: знать конъюнктуру, постоянно наблюдать за ценами как местного, так и внутреннего рынка, иметь представление об общих экономических перспективах ближайшего времени не только России, но и заграницы. Потребительские кооперативы вступали в острую конкурентную борьбу с местными торговцами и лавочниками, против которых нередко и направлялась их деятельность. В сущности потребительский кооператив представлял собой акционерное капиталистическое коммерческое предприятие, члены которого — кооператоры — снабжали себя необходимыми товарами по низким ценам и получали дивиденды пропорционально паевому капиталу. Ясно, что крестьянин, чтобы стать членом потребительского кооператива, должен был обладать не только деньгами: ему необходимо было усвоить хотя бы минимум буржуазных идей хозяйствования, а для того чтобы активно и умело работать в коопера-

тиве, он должен был стать настоящим буржуа. Резонно предположить, что крестьянин-акционер потребительского кооператива стремился реализовать идеи капиталистического предпринимательства в своем хозяйстве, пытался превратить его в капиталистическое предприятие. Это, между прочим, доказывается тем, что членами кооперативов являлись преимущественно средние и зажиточные крестьяне, действительно имевшие шансы превратиться в буржуа. Вот почему масштабы потребительской кооперации могут служить одним из показателей степени обуржуазивания экономического поведения русского крестьянина, степени его отхода от патриархального потребительского отношения к собственности.

Стремительное развитие потребительской кооперации, как и кредитных кооперативов и сберегательных касс, началось после революции 1905—1907 гг. Если в 1904 г. в деревне действовало всего 950 обществ, то на 1 января 1917 г. их было около 24 тыс. и они объединяли 6.8 млн. членов. Если учесть, что одна семья состояла из 5—6 человек, то сельская потребительская кооперация обслуживала до 37 млн. человек, то есть почти 25% сельского населения страны.[25]

Все приведенные данные свидетельствуют об отходе в последнее десятилетие существования царского режима значительной части крестьянства от традиционной практики ведения хозяйства, о развитии представлений о своем хозяйстве как капитале, который должен приносить доход.

Таким образом, проверка гипотезы об отношении русского крестьянина-общинника к собственности показала, что в пореформенной деревне, особенно после 1905—1907 гг., в отношении к собственности крестьянское сознание раздвоилось: в нем сосуществовали две «правды» — «правда» новая, буржуазная, и «правда» старинная, крестьянская. Вторая пока пересиливала первую, хотя буржуазные идеи собственности получили широкое распространение. Подобная раздвоенность была вполне закономерной. Буржуазное понимание собственности, «овеществление» общественных отношений, могло сформироваться лишь постепенно, и сосуществование патриархального и буржуазного отношения к собственности явилось первой стадией перехода к буржуазным имущественным отношениям.

ПРОГРАММА ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МОДА?

В рассмотренных выше примерах, как нам представляется, использование программы исследовательского поиска (по аналогии с естественными, а также с некоторыми социальными науками — социологией, психологией, географией) оказалось полезным. И причина этого состоит не в том, что предметом изучения оказался историко-социологический, а не традиционно-исторический сюжет. Можно привести много типично исторических сюжетов, где применение социологической программы исторического поиска будет плодотворным. По-видимому, выполнение требований четкости, ясности, определенности, универсальности, известной формализации, которые предъявляются современной наукой к любому исследованию, в том числе историческому, предполагает использование именно такой программы научного поиска. В качестве ее (а значит, и самого исследования) обязательных элементов должны найти свое место эмпирическая и операционная интерпретация основных понятий исследования, предварительный системный анализ объекта изучения и рабочие гипотезы.

Но всегда ли целесообразно применять эту идеальную программу исследования? Вероятно, не всегда. Ту или иную программу обусловливает тип исторического исследования или принципиальный (стратегический) план исследования. Большинство исторических исследований выполняется в одном из трех вариантов научного поиска: формулятивном (разведывательном), описательном (дескриптивном) и экспериментальном (объяснительном).[26]

Формулятивный вариант предпочтительней в тех случаях, когда историк обращается к совершенно новому в науке сюжету, не имеющему историографии, вследствие чего об объекте изучения отсутствует сколько-нибудь определенное представление. В подобной ситуации еще неясны ключевые понятия предстоящего исследования и невозможно выдвинуть никакие гипотезы. Поэтому системный анализ объекта исследования, интерпретация основных понятий и выдвижение рабочих гипотез становятся излишними. Такое исследование преследует две цели — уточнение проблемы и формулировку гипотезы. Этим обусловлено и название данного варианта иссле-

довательского поиска — формулятивный, или разведывательный.

Описательный план исследования может быть использован тогда, когда сюжет не слишком нов, но в то же время и недостаточно еще изучен, основные понятия ясны, но выдвинуть объяснительные гипотезы историк пока не может. Знание объекта изучения позволяет построить только *описательные гипотезы.* Описательные гипотезы — это предположения о существенных свойствах изучаемого объекта (классификационные), о характере связей между отдельными элементами объекта исследования (структурные) и о степени тесноты связей между этими элементами (функциональные). Цель такого исследования — систематическое качественно-количественное описание объекта изучения. Но в отличие от поиска по формулятивному плану объект изучения подвергается предварительному системному анализу, все элементы описания заранее определяются в классификационных, структурных и функциональных гипотезах, а основные понятия получают строгую эмпирическую и операционную интерпретацию, то есть применяется полная программа исследования. В этом случае полученное знание об объекте изучения может и не обладать значительной новизной в смысле новой информации, но зато будет выражено в четких научных понятиях.

Экспериментальный вариант исследовательского поиска — наиболее сложный. Он может быть применен лишь тогда, когда знаний о данном объекте исследования накоплено столько, сколько нужно для того, чтобы выдвинуть *объяснительные гипотезы* — предположения о причинно-следственных зависимостях в изучаемых социально-экономических процессах и явлениях, — требующие экспериментальной проверки. Отсюда и название данного типа исследования — экспериментальный. Цель его — установление причинно-следственных отношений в социальных объектах. Историк лишен возможности провести натурный эксперимент для проверки выдвинутых гипотез. Но ему вполне доступен мысленный эксперимент — анализ исторической информации об объектах, которые ставятся в экспериментальные условия не в натуре, а мысленно. Исследование по экспериментальному плану обязательно предполагает системный анализ изучаемого объекта, интерпретацию основных понятий и рабочие гипотезы.

Можно и в одном исследовании пройти все три стадии научного поиска: начать с формулятивного плана, затем осуществить описательный и закончить уяснением причинных связей — экспериментальным планом. Но чаще исследование ограничивается задачами одного какого-нибудь варианта научного поиска. Как было показано, реализацию описательного и экспериментального планов целесообразнее проводить, используя полную программу исследования, а формулятивного — без некоторых ее элементов. Конечно, любое исследование можно проводить и без всякой программы. Но нужно помнить об издержках и недостатках подобного научного поиска. Беспрограммное исследование или исследование по неполной программе, исключая формулятивный вариант, сродни поиску методом проб и ошибок. Если не проведена интерпретация понятийного аппарата, то, как правило, обнаружится, что понятия нечетко определены и не обеспечиваются конкретными историческими данными. Если не было гипотез, то становится неясно, какие данные собирать или как обрабатывать собранный материал. Попытка решать возникшие вопросы в ходе сбора, а тем более в ходе анализа уже собранных данных не бывает удачной. В результате оказывается, что получить ответы на запланированные вопросы невозможно. Расход сил не оправдывает полученный познавательный эффект. В конце беспрограммного исследования обычно приходят к выводу, что если теперь начать работу, то все нужно делать по-другому.

С другой стороны, и при хорошо разработанной программе результаты могут оказаться неудовлетворительными, если исследователь смотрит на нее как на категорический императив. Поэтому она должна быть гибкой. Гибкость — это не устранение тех или иных элементов программы, а нарушение привычной последовательности некоторых этапов изучения, изменение интерпретации понятий, переформулировка гипотез, исправления в системном анализе изучаемого объекта, которые вносятся в программу, если в ходе работы обнаружились недостатки в отдельных ее элементах или если исследование приобретает неожиданный поворот.

Научный поиск по тщательно разработанной программе, в которой все положения четко сформулированы, а все элементы продуманы в соответствии с логикой исследования, всегда имеет большие шансы на успех, чем поиск,

выполненный по эскизной программе или по интуитивному плану. Добиться того, чтобы составление тщательно разработанной программы исследования стало обязательным в работе историка, чтобы реализация отдельных этапов программы проходила в строгом соответствии с требованиями современной науки и вместе с тем учитывала специфику предмета, задач и источников истории, — значит, сделать важный шаг к творческому союзу истории с социологией.

Следует придерживаться совета В. О. Ключевского: «Не начинайте дела, конец которого не в Ваших руках».

---

[1] *Ядов В. А.* Социологическое исследование : Методология. Программа. Методы. М., 1972, с. 46—76; Рабочая книга социолога. М., 1977, с. 41—123.

[2] *Барг М. А.* О некоторых предпосылках формализации исторического исследования. — В кн.: Проблемы всеобщей истории. Казань, вып. 1, 1967, с. 15.

[3] *Пэнто Р., Гравитц М.* Методы социальных наук. М., 1972, с. 147.

[4] *Энгельс Ф.* Диалектика природы. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 555.

[5] *Лаптин П. Ф.* О роли гипотезы в историческом исследовании. — Вопросы истории, 1970, № 1, с. 75—88; *Лурье Я. С.* О гипотезах и догадках в источниковедении. — В кн.: Источниковедение отечественной истории. 1976 г. М., 1977, с. 26—41; *Ядов В. А.* Социологическое исследование..., с. 71.

[6] Подробнее см.: *Миронов Б. Н.* Революция цен в России в XVIII в. — Вопросы истории, 1971, № 11, с. 46—61.

[7] *Энгельс Ф.* Письмо к В. Боргиусу. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 39, с. 175.

[8] Теоретическую разработку данного вопроса см. в кн.: Человек и его работа : Социологическое исследование. М., 1967, с. 14—97.

[9] *Максимов С. В.* Сибирь и каторга. СПб., 1900, с. 229.

[10] Охрана сельскохозяйственной собственности / Сост. Д. С. Флексор. СПб., 1904, с. 5—36. (Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России).

[11] Земельные захваты и межевое дело / Сост. С. И. Шидловский. СПб., 1904, с. 7. (Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России).

[12] Охрана сельскохозяйственной собственности, с. 9.

[13] *Семенова-Тян-Шанская О. П.* Жизнь Ивана. СПб., 1914, с. 99.

[14] Охрана сельскохозяйственной собственности, с. 18.

[15] Основным источником для характеристики крестьянского отношения к собственности в XIX—начале XX в. послужили материалы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902—1904 гг., которое через свои комитеты в 540 уездах путем опроса 12.5 тыс. человек собрало громадный фактический материал. Однако в числе опрошенных крестьяне составляли всего 17%. Бóльшая часть сведений была получена Совещанием от чиновников, дворян, земцев и землевла-

дельцев некрестьянского сословия. См.: Общий обзор трудов местных комитетов / Сост. С. И. Шидловский. СПб., 1905, с. 1—24. (Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России).

[16] Подсчитано по данным: Материалы для статистики России. СПб., 1839, отд. I, с. 133—148; Отчет Министерства юстиции за [1834—1840] год. СПб., 1835—1842; Систематический отчет о подсудимых и присужденных к наказаниям по родам преступлений в судебных местах за [1901—1910] год. СПб., 1903—1912; см. также: *Веселовский К. С.* Опыты нравственной статистики России. — Журнал Министерства внутренних дел, 1847, ч. 18, № 5, с. 179—242; *Тарновский Е. Н.* Движение преступности в Российской империи за 1899—1908 гг. — Журнал Министерства юстиции, 1909, № 9, с. 52—100.

[17] *Хейсин М. Л.* История кооперации в России : Все виды кооперации с начала ее существования до настоящего времени. Л., 1926, с. 215.

[18] *Кулыжный А.* Мелкий кооперативный кредит в России. — Вестник кооперации, 1909, кн. II, с. 73.

[19] *Соколовский П. А.* Ссудно-сберегательные товарищества по отзывам литературы. СПб., 1889, с. 254, 278, 284.

[20] Кооперация / Сост. С. Ф. Бородаевский. СПб., 1904, с. 52—58. (Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России).

[21] Кредитная кооперация в Московском уезде. М., 1911, с. 15.

[22] Статистический сборник за 1913—1917 гг. М., 1922, вып. 2, с. 132.

[23] Военно-статистический сборник. Т. 4. Россия. СПб., 1874, с. 834.

[24] Статистический временник Российской империи. СПб., 1875, сер. II, вып. 10, отд. III, с. 2, 9; Ежегодник Министерства финансов. СПб., 1883, вып. XIII, с. 360, 368; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917, с. 538; Ежегодник России 1907 г. СПб., 1908, с. 407.

[25] *Меркулова А. С.* История потребительской кооперации. М., 1970, с. 13—15.

[26] О составлении программы исследования и ее значении очень удачно рассказано в книге В. А. Ядова «Социологическое исследование...» (с. 46—76), на которую мы полностью опирались при написании данного раздела.

Глава II

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕМЫ — НОВЫЕ ПОНЯТИЯ

> Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
>
> *Козьма Прутков*

ПОНЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ

В предыдущей главе было показано, что социологи придают большое значение понятийному аппарату исследования. Во избежание многосмысленности и неясности они, как и представители естественных и точных наук, разработали специальную процедуру эмпирической и операционной интерпретации основных понятий исследования, которая стала обязательной в любом социологическом исследовании. Это способствует унификации понятийного аппарата социологии, выработке общих для всех исследователей терминов и категорий, созданию общезначимого для всех социологов языка.

Как же обстоит дело с понятийным аппаратом истории?

Понятийный аппарат историков, по их собственному признанию, несовершенен. Они пользуются современным им литературным языком, понятиями, заимствованными из источников и других социальных наук. Применяемые в истории понятия различны по происхождению и логической ценности, многие из них недостаточно адекватны историческому материалу, плохо передают колорит эпохи и не всегда соответствуют требованиям, которые предъявляются к научным понятиям: быть точными, строгими, однозначными для всех исследователей. Современный историку литературный язык в научных трудах имеет два недостатка: во-первых, его понятия не поддаются операционной и эмпирической интерпретации, во-вторых, будучи языком современным, он мало способен передать своеобразие отдаленных эпох. Язык смежных социальных дисциплин ориентирован на современность, его неосторожное использование модернизирует исторический процесс.

Наконец, понятия, заимствованные из источников, наиболее, казалось бы, точные и адекватные эпохе, имеют точный смысл только в рамках определенной эпохи, плохо понятны современному читателю, даже профессионалу-историку, если он занимается другой эпохой, и в еще меньшей мере являются общезначимыми. Отсюда неудовлетворительное состояние понятийного аппарата истории, которое мешает общезначимости исторических высказываний и взаимопониманию историков. М. А. Барг правильно заметил: «Понятийный аппарат исторической науки поистине застыл на уровне общенаучных представлений конца прошлого, начала нашего столетия... В их собственном (т. е. привычном) арсенале понятий царит истинный „Вавилон", существует очень мало терминов, содержание которых не вызывает споров среди историков, если даже они стоят на одинаковых общеметодологических позициях».[1]

Следует также учесть, что многие понятия, употребляемые историками, предназначены для передачи особенного, своеобразного, единичного, поскольку долгое время именно эта сторона исторической действительности находилась в центре их внимания. Поворот историков к изучению массовых социально-экономических процессов и явлений требует введения иных, более общих, более абстрактных понятий, которые пока в достаточной мере не выработаны в истории. Поэтому старый понятийный аппарат не только затрудняет общение историков, но и в определенной степени препятствует реализации новых целей, стоящих перед ними: выяснению исторических закономерностей на основе изучения массовых социально-экономических процессов.

Отметим еще одно явление, характерное для современного состояния исторической науки и имеющее отношение к ее понятийному аппарату: возникновение и развитие новых вспомогательных исторических дисциплин, таких как историческая демография, историческая социология, историческая психология, клиометрика (математическая история). Весьма вероятно, что в ближайшем будущем на стыке истории с другими социальными науками появятся и другие дисциплины. Благодаря этому в историческую науку уже хлынул из других наук поток новых терминов, более общих, абстрактных и строгих, по своему характеру отличных от традиционно исторических понятий. Это

«великое переселение» научных терминов в историческую науку — процесс безусловно прогрессивный — временно приводит к большим затруднениям, так как старые понятия плохо согласуются с новыми — пришельцами из других наук.

Где же выход из создавшегося положения?

На один из возможных путей указывалось в предыдущей главе: ввести в качестве обязательной процедуры в историческое исследование *четкое определение понятий* и их эмпирическую и операционную интерпретацию, как это делается у социологов. Это будет способствовать выработке общих для всех историков терминов и категорий.

Второй возможный путь усовершенствования понятийного аппарата историков состоит в том, чтобы установить связь между *понятиями историческими и новыми понятиями,* заимствованными из других наук, а затем подвести конкретные исторические термины под более общие и абстрактные понятия других наук. Особенно настоятельна потребность в нахождении общего знаменателя между понятиями историческими и социологическими. Социология как наука о законах общественного развития и прикладная социология со своими конкретно-социологическими исследованиями современного состояния общества наиболее близки по предмету изучения истории. Понятийный аппарат социологии достаточно широк и гибок и более разработан, чем в истории (правда, не следует преувеличивать степень этой разработки, многие социологические понятия еще далеки от идеала). Наконец, установление логической и эмпирической связи между понятиями социологическими и историческими уничтожит важнейшее препятствие на пути применения в истории социологических теорий, концепций, методов, ибо ничто так серьезно не разъединяет смежные науки и ученых, в них работающих, как различие в понятийном аппарате, отсутствие общезначимого языка.

Рассмотрим два конкретных примера установления связи между понятиями историческими и социологическими и оценим открывающиеся в результате этого возможности.

В социологии широко распространено понятие «*социальная группа*». Оно тесно связано с такими понятиями, как «класс» или «слой», но не покрывается ими и не заме-

няет их, поскольку имеет свою специфику. Термин «социальная группа» употребляется для обозначения не абстрактно, а реально существующих человеческих объединений, в которых протекает жизнь людей. В основе таких ассоциаций лежит объективная необходимость людей в сотрудничестве, потребность в общении; они образуются для достижения общих целей, для соединения усилий и кооперации действий. Социальная группа не только имеет, но и сознает цель своей деятельности и самого своего существования, обладает как необходимыми для совместной жизни и работы знаниями и умениями, навыками и традициями, так и способами поддержания и выражения группового единства. В социальной группе существует в той или иной форме общение, благодаря которому становятся возможными групповые решения, оценки, мнения и «общий язык» между членами группы, возникает в той или иной степени эмоциональное и волевое единство.

Исходя из всего вышесказанного, социальную группу определяют как общность взаимодействующих друг с другом людей, которые связаны системой отношений, регулируемых социальными институтами, обладают определенными общими ценностями и в соответствии с каким-либо принципом отделены от других общностей.[2]

Не всякая общность людей является социальной группой, а лишь та, которой свойственны определенные признаки: 1) численность не менее 2—3 человек; 2) определенная степень обособленности, четкие границы, которые не позволяли бы ей смешиваться с другими группами; 3) наличие совместной социальной деятельности, общность задач и целей; 4) разделение труда между членами группы в выполнении общей задачи; 5) координация действий и установление связи и обмена информацией между членами; 6) наличие определенной организации и управления; 7) существование групповых ценностей и норм поведения; 8) эмоциональное и волевое единство.

Как видим, понятие «социальная группа» в социологии употребляется в другом смысле, чем в истории (и вообще в обыденном языке), где под группой понимается совокупность людей, имеющих какие-то общие объективно существующие характеристики и свойства. Говоря о социальных группах в российской дореволюционной деревне, историк имеет в виду существование отдельных социальных про-

слоек — богатых, бедных, средних. Аналогично можно выделить группы по полу, возрасту, профессии, квалификации, заработку и т. д. Выделяемые по этому классификаторскому принципу социальные группы являются «условными» или «статистическими», они специально конструируются исследователем, не существуя реально как организации, ассоциации, сообщества.

В социологии разработана подробная классификация социальных групп. Не вдаваясь в ее подробности, отметим наиболее важные виды групп: малые и большие, первичные и вторичные, формальные (организационно оформленные) и неформальные (организационно не оформленные), временные и постоянные.

Малая группа, как правило, насчитывает самое большее несколько десятков членов, их отношения строятся на личном знакомстве, близости, непосредственных личных контактах. В противоположность ей *большая группа* отличается многочисленностью и вследствие этого формальной, обезличенной, анонимной связью между ее членами, системой не индивидуального, а массового воздействия, формирующего установки и стремления ее членов. Примером малой группы может служить школьный класс, большой — классовые, этнические, религиозные и другие группы, включающие большие массы членов, которые могут жить в разных городах и районах страны, например сектанты одного направления.

Первичные группы — это разновидность малых групп. Любая первичная группа — малая, но не всякая малая группа — первичная. Первичная группа имеет небольшую численность, не ставит перед своими членами ясных целей, в ней отсутствуют разделение труда между членами, управление, четкая иерархическая структура, зато все члены глубоко эмоционально вовлечены в дела группы. К такому типу групп относятся соседские круги, семья, компания сверстников. *Вторичная группа,* как правило, организована для реализации определенной цели. В деятельности она опирается на такую систему отношений между своими членами, в основе которых лежит определенная совокупность прав и обязанностей каждого члена группы и норм поведения. Функционирование вторичной группы регулируется специальными правилами. Вторичные группы — преимущественно большие группы, например коллектив фабрики, но малые группы также могут быть вторичными,

например футбольная команда или группа разведчиков, отправленная в тыл врага.

У *неформальных групп* внутренняя связь между ее членами основана лишь на необязательных формально правилах, на неформальной спонтанной организации и неофициальном контроле. К ним относятся первичные и малые группы, а также широкие общности людей, формирующиеся на основе принадлежности к определенной территории. Напротив, *формальная группа* обладает четкой организацией и структурой, налаженной системой формального управления и контроля, высокой организованностью взаимодействия членов группы. Вся ее деятельность осуществляется на основе обязательного соблюдения ее членами внешних требований и правил. Примером формальной группы могут служить лаборатория или кафедра института, производственная бригада, подчиняющиеся установленному порядку, имеющие определенную структуру и ясную программу деятельности.

Взаимодействие членов группы может быть временным, например в ходе демонстрации по улицам города, и постоянным, как это бывает на совхозной ферме. В связи с этим и группы могут быть *временными и постоянными.*

Основываясь на определении, признаках и типологии социальных групп, можно практически любую совокупность или организацию людей, действовавших на протяжении русской истории, подвести под тот или другой тип социальной группы. Как это делается, рассмотрим на конкретном примере.

Можно ли русскую сельскую общину XIX—начала XX в. рассматривать как социальную группу? Можно, потому что община обладала всеми признаками социальной группы. Она имела четкие территориальные и персональные границы (определенный состав людей). Члены общины образовывали одно целое, осуществляли разнообразную деятельность (земледелие, управление, культ и пр.), направленную к единой для всех цели,— обеспечить всех членов общины материальными и духовными благами. В общине практиковалось разделение труда, осуществлялась координация действий и существовало хорошо организованное управление. Община имела определенную организацию, духовную атмосферу, эмоциональное и волевое единство. Сельские общины XIX—начала XX в. обладали многими чертами малых социальных групп, так как имели

небольшую численность — несколько десятков семей, отношения между которыми строились на основе непосредственных личных контактов, дружбы и родства. А некоторые общины, насчитывавшие менее 20 человек, с точки зрения структуры и функции, организации и управления, взаимодействия членов между собой и с внешним миром являлись типичными малыми социальными группами.

Какое значение для историка имеет признание русской сельской общины XIX—начала XX в. социальной группой? Очень большое. Современные социологи затратили много усилий и достаточно хорошо изучили функционирование групп, в особенности малых, сделали и некоторые теоретические находки. Для анализа малых групп социологи разработали специальный понятийный аппарат и особую методику. Значит, историк, исследующий русскую сельскую общину, может с большой пользой для себя и для исторической науки воспользоваться богатым опытом социологов в изучении социальных групп. Немаловажно, что в исследовании общины на вооружение можно взять и достаточно разработанный понятийный аппарат социологов, в котором имеются такие важные для историков понятия, как поведение, роль, ценности, нормы, коллективные представления, формальная и неформальная структура группы, социализация, социальный контроль, санкция, статус, лидер и др. Большинство этих понятий употребляются историками, но преимущественно в обыденном значении этих терминов, а их желательно использовать в строго научном, общезначимом социологическом смысле. Если историк освоит эти понятия и будет их использовать, тогда работа, написанная им об общине, станет понятна и интересна социологу, а работа последнего о малых группах — историку.[3]

Таким образом, установив связь между историческим понятием «община» и социологическим понятием «социальная группа», историк достигает сразу трех целей: добивается взаимопонимания с социологом и его наукой; получает более четкий понятийный аппарат для анализа очень важной в историографии проблемы (который, кстати говоря, будет полезным и при изучении других сюжетов, ибо этот аппарат включает важнейшие понятия социологии); наконец, на службу исторической науки поступает опыт социологов в анализе социальных групп, разработанная схема и методика их анализа (об опыте исполь-

зования социологического подхода к общине см. ниже, гл. III).

Второй пример установления связи между понятиями историческими и социологическими относится к использованию в историческом исследовании другого важного понятия социологии — «социальная мобильность», или «социальные перемещения».

Социальной мобильностью называют в социологии изменение отдельным человеком или группой социальной позиции, места (статуса), занимаемого в социальной структуре общества. Различают горизонтальную и вертикальную мобильность. Перемещения личностей или групп (а вместе с ними системы ценностей, норм поведения, предметов, культурных образцов) от одной социальной позиции к другой, из одного социального слоя в другой без изменения статуса и социальной значимости (или перемещения на одном и том же социальном уровне), а также перемещения в пространстве называют горизонтальной мобильностью. Вертикальная мобильность — передвижения личностей или групп вверх и вниз в системе социальных позиций или по ступеням иерархизированной социальной лестницы, связанные с продвижением или деградацией, то есть с изменением статуса (естественно, при вертикальной мобильности культурные образцы тоже перемещаются из одного класса в другой, из низшего социального слоя в высший и, наоборот, из высшего в низший).[4]

Изменение профессии, миграция и другие явления можно отнести к вертикальной или горизонтальной мобильности, только предварительно разобравшись, произошло ли одновременно изменение статуса или нет. При этом исследователя не должно покидать чувство историзма, понимание исторической относительности значения тех или иных социальных позиций. Например, переход крестьянина в город в качестве ремесленника (после продажи имущества в деревне) в условиях капитализма следует отнести к горизонтальной мобильности (статус человека не изменился), а в качестве рабочего (после разорения и вынужденной ликвидации хозяйства) — к вертикальной (статус понизился). Превращение крепостного крестьянина в свободного ремесленника или даже в вольнонаемного рабочего в условиях феодализма, по-видимому, надо признать вертикальной мобильностью, так

как статус человека повысился. Отходничество русских крестьян XIX в., если оно не сопровождалось хотя бы кратковременным изменением статуса, — это проявление горизонтальной мобильности, а с повышением или понижением статуса — вертикальной.

Вертикальная социальная мобильность бывает двух видов: 1) в рамках одного поколения (индивидуальная и групповая) и 2) между поколениями (между двумя поколениями — отцы и дети, между тремя — деды, отцы и дети). Процесс вертикальной мобильности может быть не только индивидуальным, но и групповым. Иногда, во время революций или серьезных социальных реформ, он охватывает целые классы и социальные слои, а иногда, например во время научно-технических революций, — целые профессии, поскольку профессиональные группы имеют статус, который со временем изменяется (в XX в. наблюдалось повсеместное повышение статуса технических профессий и понижение статуса гуманитарных профессий).

Под влиянием горизонтальной мобильности происходит проникновение в социальные группы новых культурных образцов, систем ценностей и норм поведения, что объективно означает обогащение сознания и расширение кругозора членов группы. Но вместе с тем подобное проникновение культурных образцов приводит к конфликтам внутри групп между отдельными личностями и целыми поколениями, например между отцами и детьми. Возможность вертикальной мобильности (а она, как известно, существовала не в одинаковых размерах в разных обществах) вызывает конкуренцию, усиливает борьбу за более высокий статус, за власть, престиж, влияние. Вертикальная мобильность не в меньшей степени, если не в большей, чем горизонтальная, способствует и обогащению групповых культурных образцов, и обострению конфликтов между различными системами ценностей.

Социальная мобильность связана как с действием законов общественного развития, с классовой борьбой, обусловливающих рост престижа одних классов и снижение его у других, так и с личной деятельностью человека. В кастовом и сословном феодальном обществе социальная мобильность резко ограничена. При капитализме, разрушающем все сословные перегородки, наблюдается сильный рост социальной мобильности. При социализме в резуль-

тате глубоких социальных преобразований значение социальной мобильности еще больше возрастает.

В исторических исследованиях понятие «социальная мобильность» еще не получило сколько-нибудь широкого распространения и «прав гражданства».[5] Историки при изучении социальной структуры общества, в частности деревни, предпочитают пользоваться другими понятиями: «имущественное расслоение», «социальная дифференциация», «социальное нивелирование». Однако эти чрезвычайно важные и полезные понятия имеют иной смысл и не покрывают значение понятия «социальная мобильность». Социальная дифференциация означает расчленение однородной социальной структуры на социально антагонистические элементы или на классы, например распадение крестьянства при капитализме на сельскую буржуазию и сельский пролетариат. Имущественное расслоение — разделение социальной структуры на социально однородные, но материально различно обеспеченные слои, например расчленение крестьянства при феодализме на богатых, средних и бедных. Нивелирование — это стирание социальных или имущественных различий между классами, социальными слоями или отдельными людьми.

Как видим, социальная мобильность означает совсем иные социальные процессы в социальной структуре общества, хотя и связанные с социальной дифференциацией или нивелированием. Социальная мобильность — это тот механизм, с помощью которого в обществе формируется социальная структура (последняя в свою очередь оказывает влияние на характер мобильности), а социальная дифференциация — результат процессов социальной мобильности. Поэтому взгляд на социальную структуру общества сквозь призму социальной мобильности — это взгляд с другой точки зрения, это совсем другой ракурс.

Использование историками понятия «социальная мобильность» может дать неплохие результаты. В социологии процесс социальной мобильности на современных материалах достаточно хорошо изучен, разработаны показатели мобильности и методика ее изучения. Понятие «социальная мобильность» хорошо эмпирически и операционно интерпретируется на историческом материале. Результатом анализа социальной структуры общества с точки зрения вертикальной социальной мобильности обычно бывают коэффициенты, показывающие вероят-

ность для детей изменить (повысить или понизить) свой статус относительно родительского. Кроме того, вертикальная социальная мобильность может измеряться с помощью коэффициента корреляции между общественным положением отцов и детей. Максимальной мобильности между поколениями соответствует коэффициент корреляции ± 1, минимальной — 0. Действительная вертикальная социальная мобильность в современных развитых капиталистических странах выражается коэффициентом корреляции, находящимся между 0.4 и 0.5.[6]

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСТВА В РОССИИ

Для лучшего уяснения понятия «социальная мобильность» в исторических исследованиях и его связи с традиционными историческими понятиями «социальная дифференциация», «имущественное расслоение» и «нивелирование» рассмотрим результаты, полученные историками в области изучения дифференциации русского крестьянства XVI—начала XX в., с точки зрения вертикальной социальной мобильности.

Под вертикальной социальной внутриклассовой мобильностью крестьянства понимается процесс, в результате которого крестьянские хозяйства перемещаются из низших в высшие и из высших в низшие группы, а крестьяне изменяют свой статус. Процесс этот включал: а) непрерывную эволюцию отдельных хозяйств и соответственно непрерывное изменение статуса их владельцев — крестьян; б) постоянное обновление состава социальных прослоек, выражавшееся в том, что средние, низшие и высшие прослойки крестьянства через определенный промежуток времени в значительной мере состояли уже не из прежних крестьян, а из других; в) образование крестьян с постоянным, зафиксированным, наследственным статусом (как бы социального «осадка»), вследствие чего в каждый данный момент в деревне существовало определенное количественное соотношение крестьян с постоянным и временным (незафиксированным, ненаследственным) статусом.

Применительно к крестьянству связь между социальной мобильностью, социальной структурой, социальной дифференциацией и нивелированием можно представить следующим образом. Социальная структура крестьян-

ства (соотношение социальных прослоек на определенный момент времени) — это итог процессов вертикальной (внутриклассовой и межклассовой) социальной мобильности крестьянства. Соответственно процессы дифференциации (динамика социальной структуры крестьянства во времени со знаком плюс) и нивелирования крестьянства (динамика социальной структуры крестьянства со знаком минус) тоже представляют собой результат внутриклассовой вертикальной социальной мобильности крестьянства. Дифференциация или нивелирование являются как бы равнодействующей и вместе с тем итогом всех процессов, происходивших в социальной структуре крестьянства.

Теперь, после интерпретации основных понятий нашего исследования, обратимся к данным, характеризующим социальную структуру российского крестьянства. В табл. 1 приведены сведения, полученные в результате обобщения многочисленных конкретных исторических работ (их более ста), посвященных изучению социальной дифференциации деревни XVI—начала XX в.

Таблица 1
Социальная структура российского крестьянства XVI — начала XX в. (в %)

Год	Богатые	Средние	Бедные
1495—1505	15	53	32
1650—1750	15	53	32
1751—1800	10	48	42
1801—1860	16	54	30
1896—1900	18	23	59
1917	6	18	76

Приведенные данные показывают, что в эволюции социальной структуры деревни в течение рассматриваемого времени отчетливо выделяются две стадии. На первой стадии, продолжавшейся примерно до конца 50-х гг. XIX в., структура характеризовалась сравнительно устойчивым соотношением социальных слоев крестьянства: богатые — 10—16%, средние — 48—54, бедные — 30—42%. В течение этого периода в социальной структуре российского крестьянства не произошло качественных сдвигов, а имели место лишь некоторые количественные изменения. Только в последние десятилетия существования крепостного права и лишь в среде торгово-земледельческого и

промыслового крестьянства можно отметить начало серьезных сдвигов в социальной структуре.

На второй стадии эволюции социальной структуры крестьянства в России, начавшейся с отменой крепостного права и продолжавшейся до 1917 г., в деревне произошли радикальные перемены. К 1917 г. средняя прослойка «размылась» и составляла всего около 23% всех крестьян, на долю бедной и богатой групп приходилось соответственно 59 и 18% всех крестьян. Одновременно со снижением доли крестьян-середняков в пореформенное время наблюдались пролетаризация одной части крестьянства и обуржуазивание другой, то есть происходила социальная дифференциация деревни, рост богатства на одном полюсе и бедности — на другом. Имущественная неоднородность крестьянства за вторую половину XIX—начало XX в. возросла примерно вдвое, в то время как в течение XVI—первой половины XIX в. она практически не изменилась.

Закономерно поставить вопрос: чем обусловливались длительная стабильность социальной структуры крестьянства в феодальную эпоху и ее существенные и быстрые изменения после отмены крепостного права? Решению этой важной и интересной проблемы может способствовать обращение к изучению характера вертикальной социальной мобильности крестьянства.

Как показали специальные исследования, крестьянское хозяйство не являлось устойчивым: даже в руках одного хозяина, не говоря уже о поколениях, ранг хозяйства и соответственно социальный статус самого хозяина — крестьянина неоднократно изменялись. Вследствие этого крестьянин в течение своей жизни бывал нередко и богатым, и средним, и бедным, другими словами, обладал высокой социальной мобильностью. Однако характер мобильности в среде русского крестьянства не оставался постоянным. Внутриклассовая вертикальная социальная мобильность, как и социальная структура деревни, в своей эволюции в течение рассматриваемого времени тоже прошла две стадии: первая продолжалась до отмены крепостного права, до середины XIX в., вторая стадия приходилась на пореформенное время, вторую половину XIX—начало XX в. Получается так, что феодальной, относительно стабильной социальной структуре крестьянства, в которой середняки составляли примерно половину всех крестьян, соответствовал *феодальный тип* внутриклассовой верти-

кальной социальной мобильности, а подвижной социальной структуре пореформенного периода — иной тип вертикальной мобильности, который условно назовем *раннекапиталистическим*.

Вертикальная мобильность крестьянства феодального типа имела следующие особенности: 1) была высокой индивидуальная мобильность крестьянина внутри деревни-общины; 2) число крестьян (в пределах одной деревни или крестьянского сословия в целом) с повышающимся статусом примерно равнялось количеству крестьян с понижающимся статусом, вследствие того что процессы роста и упадка крестьянских хозяйств и соответственно их владельцев на протяжении достаточно продолжительного периода времени были уравновешены; 3) элементы «разложения» крестьянства либо выбрасывались из деревни, либо искусственным образом приводились к традиционному состоянию (те немногие крестьяне, которым удавалось разбогатеть в крепостную эпоху, уходили из деревни в город; разорившиеся крестьяне либо оставляли сельское хозяйство, становясь ремесленниками, дворовыми и пр., либо помещик и община помогали им поднять хозяйство и встать на ноги); 4) наблюдалась низкая межсословная и межклассовая мобильность.

Названные особенности вертикальной мобильности крестьянства феодального типа бросают новый свет на социальную структуру российской деревни крепостной эпохи.

За стабильным соотношением социальных прослоек крестьянства в течение XVI—первой половины XIX в. вертикальная мобильность позволила увидеть интенсивную внутреннюю жизнь в любой деревне-общине, выражавшуюся, в частности, в высокой социальной подвижности отдельного крестьянина. В табл. 2 приведены характерные

Таблица 2
Эволюция трех категорий крестьянских хозяйств в первой половине XIX в.

Категория хозяйств	Число хозяйств (в %) через							
	20 лет				35 лет			
	всего	I	II	III	всего	I	II	III
Бедная (I)	100	56	41	3	100	33	66	1
Средняя (II)	100	24	66	10	100	26	62	12
Богатая (III)	100	15	66	19	100	9	71	20

данные, показывающие эволюцию крестьянских хозяйств и соответственно их владельцев за 20 и 35 лет в помещичьей деревне первой половины XIX в.

Как видим, даже в первой половине XIX в., в последние десятилетия существования крепостничества, когда наметились некоторые сдвиги в традиционной феодальной социальной структуре деревни, крестьянин обладал очень высокой мобильностью. Ему на протяжении своей жизни нередко приходилось пребывать в рядах и бедных, и богатых, и средних крестьян. Подавляющее большинство крестьян — свыше 80% — имело *временный* статус. Вероятность того, что сын сохранит имевшийся у отца перед смертью статус, была невелика: сын бедного отца имел 33—56 шансов из 100 сохранить статус отца, сын середняка — 62—66 и сын богатого — 19—20 шансов. При этом в феодальную эпоху наибольшей устойчивостью обладало середняцкое хозяйство и соответственно его владелец, а наименьшей — бедняцкое хозяйство и его владелец.

Высокая индивидуальная социальная мобильность крестьянства в феодальную эпоху сочеталась с низким уровнем межклассовой и межсословной вертикальной мобильности. Дети в абсолютном большинстве случаев повторяли «карьеру» отцов.

Вертикальная мобильность крестьян ограничивалась преимущественно рамками своего класса, переходы в другие сословия происходили редко и только с санкции помещика или государства, а также в результате побега или рекрутского набора. Подавляющее число крепостных крестьян составляло с точки зрения социального статуса низшую категорию населения и было обречено до конца жизни нести свою тяжелую долю.

Высокий уровень внутрисословной мобильности и низкий уровень межсословной и межклассовой мобильности крестьянства были обусловлены сословным характером феодального общества, слабым развитием товарно-денежных отношений в деревне, феодальной эксплуатацией, которая поглощала почти целиком прибавочный продукт и парализовывала хозяйственную инициативу крестьян. Существенное значение в формировании мобильности феодального типа имели также поземельная община и патриархальная идеология и социальная психология крестьянства.

Общий характер феодальной вертикальной мобиль-

ности и создал относительно устойчивую социальную структуру как всего феодального общества в целом, так и крестьянства в частности. Социальные перемещения проходили преимущественно внутри отдельных сословий, как бы по замкнутым кругам, которые лишь в весьма слабой степени соприкасались и пересекались. Однако если бы каждое новое поколение лишь воспроизводило социальную структуру, то феодальное общество существовало бы вечно. Этого не произошло потому, что социальные перемещения не ограничивались движением по изолированным кругам. Внутренняя жизнь деревни феодальной эпохи не исчерпывалась движением по кругу. В результате вертикальной социальной мобильности появлялся «социальный осадок» — крестьяне с фиксированным, наследственным статусом. По мере роста товарности крестьянского хозяйства этот «осадок» постепенно рос и ко времени отмены крепостного права охватил почти 20% всех крестьян. Табл. 3 показывает, как, например, создавался «социальный осадок» среди помещичьих крестьян России в первой половине XIX в.

Таблица 3
Возникновение «социального осадка» среди помещичьих крестьян в первой половине XIX в.

Прослойка крестьян	Число крестьян (в %), непрерывно остававшихся в первоначальной социальной прослойке	
	за 20 лет	за 35 лет
Бедная	19	7
Средняя	39	25
Богатая	13	13
В среднем	34	19

Преимущественно внутри этого «осадка», особенно в хозяйствах наследственно бедных и наследственно богатых крестьян, и складывались в предреформенное время новые буржуазные отношения, подорвавшие в пореформенную эпоху традиционную феодальную социальную структуру.

Вертикальная социальная мобильность крестьянства раннекапиталистического типа в пореформенную эпоху имела другие особенности: 1) умеренную индивидуальную

мобильность крестьян внутри деревни-общины; 2) преобладание числа хозяйств и соответственно крестьян с понижающимся статусом сравнительно с количеством хозяйств и крестьян с повышающимся статусом, вследствие того что процессы упадка крестьянских хозяйств доминировали над процессами их роста (прогрессирующие хозяйства численно уступали деградирующим хозяйствам); 3) сосредоточение преимущественно в деревне элементов расслоения, или «разложения», крестьянства, формирующих новые классы — класс сельской буржуазии и класс сельских пролетариев; 4) умеренную межклассовую и межсословную мобильность.

Изменение характера вертикальной социальной мобильности в пореформенное время привело к изменению социальной структуры общества в целом и крестьянства в особенности. Для нового типа социальной структуры российской деревни, сложившейся в течение второй половины XIX—начала XX в., было характерно снижение роли средних крестьянских хозяйств, экономическое господство богатых и численное превосходство бедных хозяйств. К 1917 г. крестьянин в каждый данный момент имел приблизительно 76 шансов из 100 оказаться в бедной прослойке, 18 — в средней, 6 — в богатой прослойке, а в дореформенной деревне соответственно — 30, 54 и 16 шансов из 100. Новая социальная структура пореформенной деревни формировалась в ходе постепенного уменьшения индивидуальной вертикальной мобильности, нарушения соответствия между числом крестьян с повышающимся и понижающимся статусом и роста вертикальной мобильности между поколениями крестьян.

В начале XX в. уже только около 50—60% крестьян обладали временным статусом. Почти у половины земледельцев статус зафиксировался, и, следовательно, они не имели шансов изменить свое положение. Именно эта часть крестьянства представляла подготовленную почву для развития капитализма в сельском хозяйстве. Из богатых крестьян с постоянным, наследственным статусом активно вырастала сельская буржуазия. Крестьяне, принадлежавшие к низшим прослойкам, все чаще лишались возможности улучшить свое положение и превращались в сельских пролетариев. Между этими крайними группами крестьянства рос и углублялся классовый антагонизм, который почти отсутствовал в феодальную эпоху.

В пореформенную эпоху «карьера» детей очень часто отличалась от типичной «карьеры» отцов. Значительно расширились для крестьянства по сравнению с крепостной эпохой возможности перейти в другие сословия, благодаря чему стало интенсивно расти городское население, доля которого в общем населении несколько столетий практически не изменялась. Усиление межсословной и межклассовой мобильности увеличило количество ступеней на социальной лестнице, которые мог пройти отдельный крестьянин. Однако «путь наверх» был доступен крайне ограниченному числу земледельцев. Большинству предназначался «путь вниз», длина которого в пореформенное время тоже существенно увеличилась для крестьянина.

Таким образом, изучение вертикальной социальной мобильности крестьянства открывает определенные дополнительные возможности для исследования социальной структуры российской деревни XVI—начала XX в. и, что представляется особенно важным, позволяет более фундаментально поставить и изучить принципиально значимый вопрос о причинах ее стабильности при феодализме и неустойчивости при капитализме.[7]

Разумеется, через призму социальной мобильности можно рассматривать социальную структуру не только крестьянства, но и любого другого класса или сословия и тоже получить интересные результаты.

На опыте рассмотрения конкретных случаев применения в историческом исследовании социологических понятий «социальная группа» и «социальная мобильность» постараемся ответить на вопрос: что дает историку использование социологических понятий?

Как известно, выработка научного понятия всегда представляет собой более или менее значительный результат научного исследования, а иногда и большого открытия. Так, выработку понятий «социальная группа» и «социальная мобильность» можно рассматривать как важные открытия социологической науки, потребовавшие значительных усилий от ученых. Историк освобождается от большой предварительной работы по выработке понятий. Он может применять готовые понятия. Второй немаловажный эффект от использования в истории социологических понятий состоит в том, что благодаря этому складывается общезначимый язык для историков и социологов, значительно облегчающий контакты между ними. Кроме

того, поскольку применение социологических понятий влечет за собой использование соответствующей социологической методики анализа, происходит формирование общей методики анализа социальных явлений, пригодной как в историческом, так и в социологическом исследованиях. Общезначимые язык и методика анализа социальных явлений послужат толчком к взаимному использованию опыта и результатов, достигнутых в обеих науках, и явятся существенным фактором их дальнейшего развития, ибо плодотворный диалог ученых разных специальностей невозможен без общности языка и методики, без представления о предмете их занятий.

---

[1] *Барг М. А.* О некоторых предпосылках формализации исторического исследования. — В кн.: Проблемы всеобщей истории. Казань, 1967, с. 23.

[2] *Щепаньский Ян.* Элементарные понятия социологии. М., 1969, с. 117—118; Социальная психология : Краткий очерк. М., 1975, с. 50; *Андреева Г. М.* Социальная психология. М., 1980, с. 175—176.

[3] *Мадиевский С. А.* Методология и методика изучения социальных групп в исторической науке. Кишинев, 1973, с. 10—18.

[4] *Щепаньский Ян.* Элементарные понятия социологии, с. 203—206.

[5] Советская историография социальной мобильности бедна. Можно отметить лишь работы эстонских историков Ю. Каххка, Х. Лиги, Х. Палли, А. Руусманна и Х. Уйбу в книгах «Проблемы исторической демографии СССР» (Таллин, 1977, с. 148—156) и «Проблемы развития феодализма и капитализма в странах Балтики» (Тарту, 1972, с. 269—285).

[6] Подробнее см.: *Руткевич М. Н., Филиппов Ф. Р.* Социальные перемещения. М., 1970, с. 3—48.

[7] Подробнее о социальной мобильности крестьянства см.: *Миронов Б. Н.* 1) Социальная мобильность и социальное расслоение в русской деревне XIX—начала XX в. — В кн.: Проблемы развития феодализма и капитализма в странах Балтики. Тарту, 1972, с. 156—183; 2) Социальное расслоение русского крестьянства под углом зрения социальной мобильности. — В кн.: Проблемы аграрной истории : (XIX—30-е годы XX в.). Минск, 1978, ч. 2, с. 106—115.

Глава III
ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

> Если у Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у Вас и у меня останется по одному яблоку. А если у Вас есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
>
> *Б. Шоу*

ОБЩИНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИКА И СОЦИОЛОГА

Рассмотрим особенности исторического и социологического подходов на конкретном примере русской поземельной общины. Русская община, или «мир», — излюбленный сюжет дореволюционных и многих советских исследователей. В течение XIX—начала XX в., до 1917 г., об общине было написано около трех тысяч (!) книг и статей, свыше двух десятков работ появилось о ней после Октябрьской революции. Большинство исследований об общине можно разделить на две группы. В первую входят те, в которых на основе анализа значительного количества конкретных общин освещается одна сторона деятельности «мира», скажем, землепользование, личность в общинном быту и т. д. В работах второй группы на основе подробного изучения одной или нескольких общин описывается, как эти конкретные общины функционировали: каким образом крестьяне делили землю, раскладывали повинности, вершили суд, контролировали семейный быт, осуществляли управление общиной, отдавали рекрутов, какова была роль помещиков и местной администрации в деятельности общины и т. д. В некоторых случаях тщательно анализировались особенности, которые имелись в обследуемых общинах. Затем если объектом изучения было несколько общин, то проводилось обобщение наблюдений по указанным линиям анализа: общее в управлении, общее в землепользовании и т. д.[1] Работы первой и второй групп выполнялись, как правило, с применением традиционной исторической методики.

Монография крупного советского историка В. А. Александрова дает хороший пример исторического подхода

к изучению общины. В ней на основе анализа примерно 50 помещичьих инструкций и 500 мирских приговоров показана жизнь русских, преимущественно оброчных, общин XVII—начала XIX в.[2]

Исследование имеет эмпирический, индуктивный, дескриптивный, отчасти статистический характер. В самом деле, автор нигде не покидает почву конкретных исторических фактов, его выводы никогда не выходят за пределы того, что непосредственно дает исторический источник. Пользуясь исключительно сведениями, заключенными в источнике, автор все выводы строит на индуктивном рассуждении, делает обобщения только на основе частных наблюдений, определенные характерные черты общины обобщает на количественной основе. В исследовании глубоко изучаются индивидуальные случаи функционирования общин, большое внимание уделено деталям, особенностям каждой из обследованных общин. Наконец, автор охотно использует количественный анализ: при исследовании вопроса о компетенции мирских сходов подсчитывается, сколько раз обсуждались различные группы вопросов; при изучении вопроса о тяглом обложении подсчитывается, сколько раз применялись те или иные единицы обложения, и т. д.

Но возможен и правомерен социологический подход к анализу русской поземельной общины, который включает: а) построение модели общины, или общины-типа, путем проведения системного анализа и рассмотрения общины как социальной группы и б) выяснение принципов общинной жизни и причин устойчивости общины с помощью ряда социологических концепций и понятий. Рассмотрим возможности подобного подхода на примере анализа русской передельной поземельной общины 1860—1870-х гг. Община как форма общественной организации в эти годы охватывала около 75% сельского населения Европейской России и около 90% русских крестьян. Мы располагаем превосходным источником об общине этих лет — описаниями конкретных общин, выполненными в 1878—1880 гг. по 155-вопросной анкете (программе), составленной крупными русскими учеными Вольного экономического общества (ВЭО) и Русского географического общества в 1878 г. (в дальнейшем — анкета ВЭО).[3] Ответы получены от людей, живших и работавших в деревне и потому близко знавших крестьянский быт: от

представителей местной сельской администрации, землевладельцев, членов губернских статистических комитетов, священников, мировых посредников. Описаны общины 22 великорусских и 2 белорусских губерний, и есть основание считать эти общины типичными, поскольку большинство авторов прямо указывали, что описанию одной общины соответствуют десятки других общин, расположенных в уезде.

Ответы на анкету ВЭО послужили фактической базой для социологического анализа общины.[4] Кроме того, использовались статистические, этнографические и законодательные материалы для характеристики тех аспектов общинной жизни, которые не нашли полного освещения в описаниях общин по анкете.

Для абсолютного большинства русских крестьян рассматриваемого и более раннего времени община (ее границы, как правило, совпадали с границами деревни или села) являлась важнейшей социальной организацией. В ней проходила вся жизнь крестьянина от рождения и до смерти; он кратковременно покидал общину только во время отхода на заработки или поездки в город, на рынок. Крестьян объединяли в общине производственные и классовые интересы, коллективная ответственность перед государством за налоги, социальная борьба, правосудие, религиозная жизнь, потребность в защите, организация досуга, взаимопомощь и многое другое. Используя общину в качестве элемента низшей администрации, правительство предоставило ей большую автономию во внутренних делах и право самоуправления.

Община не только выступала организующим началом всей деревенской жизни, но и служила также проводником в деревне тех идей, установок и норм, которые существовали в государстве. Выступая в качестве посредника в отношениях между государством и крестьянином, община являлась той организацией, через которую он входил в большое общество. Не случайно внешние связи крестьян с государственными учреждениями, другими общинами и вообще с посторонними частными лицами осуществлялись, как правило, или непосредственно через общину, или по ее письменной доверенности.

Среди общин не было даже двух идентичных. Однако ввиду общности социально-экономических и правовых условий существования отдельных общин, а также ввиду

распространения в ходе крестьянской реформы единых принципов самоуправления на все категории крестьянства сельские общины имели принципиальное сходство. Это позволяет — с учетом имеющейся литературы о русской общине и крестьянстве — построить *модель* русской поземельной передельной общины, которая собирает в себе характерные черты большинства русских общин. О каком же большинстве пойдет речь? На долю типичной земледельческой сельской общины центральных великороссийских губерний, которая объединяла от 4 до 80 крестьянских дворов-семей и от 20 до 500 человек (вместе с детьми) и границы которой совпадали с границами деревни, приходилось около 2/3 всех общин.[5]

Функции и структура общины. Русская сельская община выполняла определенные функции (функциями общины называем такую деятельность, направленную на удовлетворение материальных и духовных протребностей ее членов, которая необходима для существования общины). Функции ее были следующие.

1. Хозяйственная (уравнительное распределение земли, регулирование ее использования, организация производства).

2. Податная (раскладка и взимание государственных, земских, мирских денежных сборов; исполнение натуральных государственных повинностей по содержанию дорог, мостов, переправ, перевозке арестантов, чиновников при их разъездах по губернии, по принятию на постой воинских команд; наблюдение за своевременным взносом следуемых с крестьян платежей; принятие мер ко взысканию недоимок; ведение отчетности и т. д.).

3. Судебная (разбор гражданских дел — все споры между односельчанами как о недвижимом и движимом имуществах в пределах крестьянского надела, так и по займам, покупкам, продажам и всякого рода сделкам и обязательствам; разбор и суд по уголовным преступлениям, совершенным внутри общины, — за оскорбления, побои, пьянство, кражи и др., кроме наиболее тяжких, таких как поджог и убийство, — на основании местных обычаев).

4. Административно-полицейская (поддержание правопорядка, внутриобщинной дисциплины и обычно-правовых норм жизни; задержка бродяг, беглых и военных дезертиров; наблюдение за исполнением правил о при-

писке, выписке и переводе крестьян из одной общины в другую; принятие мер при пожарах, наводнениях и других чрезвычайных случаях; предупреждение преступлений, задержание виновных, предварительное их дознание; наказание крестьян за маловажные проступки посредством штрафа, ареста или порки; отдача должников-недоимщиков в принудительные работы).

5. Интегративно-защитная (объединение крестьян в сплоченный коллектив и борьба за свои интересы перед государством, помещиком, другими общинами и учреждениями).

6. Кооперативно-благотворительная (взаимопомощь и сотрудничество, оказание продовольственной помощи в случае неурожая, материальная поддержка бедных, призрение сирот, больных и одиноких стариков, содержание школ, больниц, богаделен, общественных хлебных складов и других общественных заведений).

7. Регулятивно-воспитательная (социальный контроль, социализация).

8. Культурная (организация досуга, содержание школ, библиотек и т. п.).

9. Культовая (попечение о состоянии церкви и притча, организация религиозной жизни, проведение религиозных праздников и календарных земледельческих обрядов).

10. Коммуникативная (поддержание отношений с местными, волостными, уездными и губернскими, светскими и церковными властями и учреждениями).

Уже простой перечень выполняемых общиной функций свидетельствует о том, что она решала сложные и многочисленные задачи. С одной стороны, община руководила всей жизнью крестьян, отвечала их насущным потребностям и выступала перед государством защитницей их интересов, с другой — являлась административно-полицейским органом, посредством которого государство взимало с крестьян налоги, повинности, рекрутов и держало их в повиновении. С одной стороны, община имела характер неофициальной демократической организации, стихийно сложившейся в силу соседства и необходимости общежития крестьян, которую они приспосабливали к своим интересам, с другой — была официально утвержденной и признаваемой организацией, которую правительство использовало в своих целях. Цели же государства и крестьян совпадали далеко не всегда. Социальный

и функциональный дуализм общины, противоречивость стоявших перед ней задач привели к формированию в ней двух структур: формальной и неформальной, или официальной и неофициальной.

Формальная структура общины — это ее внешняя, всем видимая организация, та официальная система норм, ценностей, ролей, институтов, санкций, предписаний и учреждений, которые были установлены правительством правовым путем, формальным актом. Формальная структура являлась органической частью общегосударственной структуры, ее первичным звеном, поэтому она имела прямую связь с официальными органами власти, которые ее утверждали и поддерживали. Формальная структура общины обеспечивала реализацию официальных, государством утвержденных групповых целей общины. *Неформальная структура общины* — внутренняя, скрытая организация, состоявшая из неофициальных ценностей, норм, неформальных ролей, институтов, передаваемых обычаем и традицией, которые возникли стихийно в процессе трудовой деятельности и повседневного взаимодействия и не санкционировались государством. Она обеспечивала достижение неофициальных групповых целей общины и не имела выхода в формальную общегосударственную структуру. Через формальную структуру правительство проводило свою политику и идеологию среди крестьян, навязывало общине фискально-полицейско-административные функции, словом, превращало общину в государственный институт. С помощью неформальной структуры крестьяне защищали себя от притязаний государства, осуществляли разнообразную повседневную деятельность, сохраняли общину как институт обычного права.

Каждая из структур имела три элемента: право и мораль (нормы жизни и поведения), способы воздействия, благодаря которым поведение (в широком смысле слова) крестьян приводилось в соответствие с правом и моралью, и руководителей. Рассмотрим подробнее эти элементы. В государстве существовало официальное право и действовала официально признаваемая мораль. Однако сферой их применения являлся главным образом город. По отношению к крестьянам официальное право применялось только в тех сравнительно немногочисленных случаях, когда крестьянин имел дело либо непосредственно с государством, либо с субъектами (некрестьянами) за преде-

лами общины, либо тогда, когда призывался или сам обращался в правительственный суд. Поскольку большинство дел крестьянин имел с однообщинниками либо с крестьянами соседних общин, отношения, регулируемые официальными нормами, занимали в его жизни незначительное место. Подавляющее число дел регулировалось неофициальными нормами, которые у юристов назывались обычным правом, или обычаем.

Нормы обычного права уходили своим происхождением в глубокую древность. В применении норм обычного права к конкретным делам отсутствовали четкость и единообразие, свойственные официальному праву. Дела решались «по справедливости», «по убеждению совести», «по человеку», «по обстоятельствам». Неофициальные нормы права и морали не кодифицировались (первые шаги в этом направлении были сделаны только в 1870—1880-е гг.), но часто формулировались в пословицах. Они скрывались от посторонних, зависели от исторического прошлого данной общины, особенностей межличностных отношений внутри нее, отношений общины с другими социальными группами и государством. Принципиально важно, что для отношений между крестьянами, в особенности внутри общины, обычай имел большее значение, чем официальное право. Государство признавало обычное право как восполняющее пробелы в правовом регулировании. Между тем обычное право имело и другое значение в жизни крестьян: оно иногда заменяло официальное право.

Между официальным и обычным правом имелись различия. Однако они носили характер расхождений, иногда серьезных; кардинальных противоречий, которые угрожали бы существованию современного им общественного порядка, между ними в рассматриваемое время еще не было. Правительство следило за тем, чтобы расхождения не перерастали в серьезный конфликт, и ему удавалось до поры до времени не только устранять конфликт между обычаем и законом, но и использовать в своих целях лояльные к закону нормы обычного права. Например, в официальном праве главной формой собственности являлась индивидуальная *частная* собственность. Между тем правительство до начала XX в. поддерживало *семейную* и *мирскую* формы собственности с регулярными переделами земли — формы собственности обычного крестьянского права — по той причине, что они лучше обеспечивали

круговую ответственность крестьян перед государством, препятствовали мобилизации земли в руках богатой верхушки и появлению безземельного крестьянства, неспособного нести государственные повинности. В официальном праве доминировала *индивидуальная* финансовая и правовая ответственность граждан перед государством. Однако правительство признавало для крестьян *коллективную* ответственность — норму обычного права, потому что она помогала правительству взимать налоги с крестьян, не контролируя доходы отдельных хозяйств, а крестьянам более равномерно распределять их между собой, учитывая имущественное положение.

Ту же двойственность наблюдаем и в отношении морального кодекса, действовавшего в среде крестьянства. Существовала *общинная* мораль, совпадавшая во многих пунктах с официально признаваемой моралью. Общинная мораль в полной мере распространялась на отношения между однообщинниками, в меньшей степени — на отношения с крестьянами других общин и в слабой степени — на отношения с представителями государства, других классов и сословий. С точки зрения крестьянина обмануть соседа или родственника аморально, а обмануть в интересах крестьян правительственного чиновника или помещика — нравственный поступок, заслуживающий поощрения. Украсть что-нибудь у соседа, нарушить межу, разделяющую их участки, рубить дрова без разрешения в общинном лесу аморально, а нарвать фруктов в помещичьем саду, рубить дрова в его лесу или запахать его землю — поступки, не осуждаемые и не имеющие аморального оттенка. Таким образом, одна мораль у крестьян действовала в отношениях с однообщинниками, другая — с посторонними, в особенности с некрестьянами. Отсюда противоречивость в оценках нравственности крестьян. Представители господствующего класса или интеллигенции, не имевшие случая хорошо познакомиться с крестьянами, невысоко оценивали их нравственность. Напротив, люди из среды интеллигенции, симпатизирующие крестьянам и близко их знавшие, высоко оценивали крестьянскую мораль.

Управление общиной. Формальная и неформальная структуры общины имели свою систему социального контроля. Формальный контроль — это штраф, наказание розгами, конфискация и распродажа имущества, арест,

исключение из общины, отправление в солдаты, ссылку или тюрьму. Неформальный социальный контроль — это «шпильки», прозвища, пренебрежительное отношение, усмешки, сплетни и т.п., а также самосуд. Во внутренних делах общины неофициальному социальному контролю принадлежала ведущая роль. Общественное мнение — инструмент неформального контроля — выступало главным регулятором поведения крестьян. Те, кто отклонялся от групповых общинных стандартов, от норм обычного права, встречали сначала усмешки, затем открытое осуждение, наконец, выживание или исключение из общины (для этой цели использовались помимо формального исключения внеочередная отдача в солдаты, ссылка и др.) и даже смерть (например, нередко крестьяне убивали поджигателей, грабителей, конокрадов). Социальный контроль был настолько сильным, а его возможности столь велики, что крестьянин не мог ни физически, ни психологически существовать, если он находился во враждебных отношениях с общиной.

Обе структуры имели своих руководителей. В формальной структуре существовала иерархия должностей: сельский и церковный старосты, писарь, сборщик податей, десятские, сотские, смотрители хлебных магазинов, школ и больниц (если они имелись), лесные и полевые сторожа, пастухи и др. В неформальной структуре действовали лидеры. Формальная структура была связана с официальным управлением, неформальная — с неофициальным управлением и лидерством.

Правительство не решилось назначать на общинные должности своих, независимых от крестьян, лиц: это было бы слишком дорого и неэффективно. Оно предпочло использовать выборных — выдвигаемых самими крестьянами руководителей. С этой целью наиболее важные из выборных — староста и сборщик податей — были облечены по закону официальными административными полномочиями и подчинены волостной и уездной правительственной администрации. Таким способом правительство надеялось превратить выборных в официальную власть, в значительной мере независимую от крестьян. По закону выборные избирались на сходе общины. Однако досрочное отрешение от должности главного в иерархии выборных — сельского старосты — являлось прерогативой не общины, а уездной правительственной администрации и подлежало

утверждению губернатором. Староста получал также право наказывать крестьян за некоторые проступки денежным штрафом и двухдневным арестом. Правительство четко определило не только обязанности важнейших выборных, их подчиненность вышестоящей правительственной администрации, но и их ответственность за плохое с официальной точки зрения выполнение служебного долга (выборные могли подвергаться штрафу, непродолжительному аресту и суду). Выполнение выборными административно-полицейских обязанностей по закону ставилось исключительно под контроль уездной администрации, и лишь деятельность выборных по регулированию хозяйственной и бытовой жизни деревни контролировалась общиной. Таким способом правительство стремилось поставить выборных над общиной, разорвать связь между выборными и их избирателями, сделать выборных независимыми от общины должностными лицами, которые без жалованья (от правительства) состояли на государственной службе.

Однако, как показывает анализ практической деятельности выборных, данный план правительства не осуществился: выборные не стали над общиной, они действовали под ее контролем, все административно-полицейские меры принимались в общине только с согласия схода. Выборные крайне редко превращались во враждебную и стоящую над крестьянами власть вследствие того, что регулярно переизбирались, не имели никаких существенных привилегий, не теряли связи с крестьянством (выборные не освобождались от платежа налогов и повинностей, кроме натуральных, и продолжали выполнять все крестьянские работы), постоянно находились под контролем общественного мнения крестьян, а в случае злоупотребления властью — и под угрозой расправы. Интересы выборных как крестьян совпадали с интересами общины, а не правительства. Как правило, выборные выступали в роли защитников общины, ее ходатаев, просителей, организаторов. Несмотря на угрозу жестокого наказания, именно выборные часто возглавляли крестьянские бунты. Естественно, положение выборных было очень трудным. Не случайно желающих добровольно служить находилось мало, так что правительство вынуждено было даже запретить избираемым общиной на какую-либо должность отказываться от нее (правом отказаться от должности пользовались лишь

лица старше 60 лет, либо уже прослужившие по выборам полный срок, либо серьезно больные). Поскольку многим крестьянам уже приходилось или еще предстояло «послужить обществу», они относились к выборным с сочувствием. «На старосту не челобитчик, а от миру не прочь»; «в попах сидеть — кашу есть, а в сотских — оплеухи», — говорили крестьяне.

Таким образом, выборные являлись одновременно официальными руководителями и лидерами в общине. В качестве должностных лиц выборные обладали властью по закону, как лидеры они имели влияние, так как олицетворяли неформальные групповые желания и цели.

Обычно на ответственные выборные должности избирались «мужики зажиточные», «порядочные», «добрые», не молодые и не старики (в возрасте 40—60 лет). От них требовалось быть хорошими хозяевами, иметь большой жизненный опыт и авторитет, обладать энергией и организаторскими способностями. Вследствие этого мирские дела находились в руках, как правило, наиболее зажиточной и солидной части крестьянства. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о грамотности сельских старост. Если в 1880-е гг. среди крестьянства в среднем находилось 8—9% грамотных, то среди старост — в 2 раза больше, 19%.[6] Влиятельность выборных, в особенности старост, всецело определялась их личными качествами. Но даже влиятельные старосты не могли действовать наперекор общественному мнению, во всяком случае в течение длительного времени: их переизбирали, а иногда с ними расправлялись самосудом.

Подлинными лидерами в общине являлись старики — представители старшего поколения, чьи дети уже стали взрослыми. Обычно после 60 лет крестьянин сдавал общине земельный надел и с него снимали повинности, хотя он часто оставался еще трудоспособным и не прекращал совсем работать. Эти-то крестьяне, сохранившие ясный ум и обладавшие большим жизненным опытом и репутацией «благомысленных мужиков», то есть честных и справедливых, составляли группу стариков, которые иногда объединялись в неформальную организацию — «совет стариков». Они пользовались большим влиянием в общине, были олицетворением ее традиций, норм и ценностей, принимали активное участие в воспитании молодого поколения. Любое важное дело в общине обсуждалось

прежде всего со стариками. Их мнение в большинстве случаев было определяющим; мирской сход принимал решение только при согласии стариков, общественное мнение в общине формировалось также ими. Высокий престиж стариков объяснялся тем, что общинная жизнь строилась не по науке, не по книгам, а по устной традиции, переходившей от отца к сыну. В такой ситуации самыми компетентными оказывались старики, поскольку они обладали максимумом профессиональных и всех других знаний. Старики в полном смысле слова являлись живой энциклопедией. Их значимость во всех делах обеспечивала большое значение традиции в жизни общины.

Выборные являлись исполнительной властью в общине. По закону они должны были в фискально-административно-полицейской сфере общинной жизни исполнять волю центральной и местной администрации, сообразовываясь со своим личным мнением, видами и пожеланиями начальства, а в хозяйственно-бытовой сфере исполнять волю общины. Воля администрации выражалась в приказах и указаниях, воля общины — в решениях сходов (сход — собрание всех мужчин — глав семейств). Однако выборные не могли ничего предпринять без согласия и санкции схода. Практически получалось так, что воля правительства должна была стать сначала волей схода, а лишь потом могла претвориться в жизнь, поскольку крестьяне подчинялись только мирскому приговору, принятому на сходе. Поэтому вопреки намерениям правительства решающим элементом управления в общине, ее распорядительным органом стал сход — самый демократический институт, выработанный многовековой практикой русского крестьянства. Сход в подавляющем числе случаев (опять вопреки закону) принимал решения не механическим большинством, а стремился к единогласию. Так как по любой возникшей проблеме община должна была принять решение на сходе, именно сход являлся тем местом и тем институтом, где противоречия между формальной и неформальной структурами общины, так же как и вообще все противоречия, существовавшие в общине, разрешались. Поэтому сложные вопросы обсуждались на сходах подолгу, многократно, в острых спорах. Мнение схода складывалось под большим влиянием стариков.

Не все указания правительства встречали одобрение крестьян, потому что в большинстве своем они касались

новых обязанностей общины, налогов и повинностей. Поэтому при обсуждении особенно важных вопросов представители уездной администрации не полагались на выборных и лично присутствовали на сходах. Порой уездной администрации приходилось затрачивать большие усилия, чтобы добиться понимания и убедить крестьян в необходимости принять и выполнить те или иные распоряжения. В ход пускались уговоры и угрозы, демагогия и принуждение, призывался священник с проповедью. В большинстве случаев сход проявлял если не одобрение, то понимание и принимал соответствующие решения. Однако если крестьяне все-таки считали невозможным исполнить навязываемое им распоряжение, они твердо стояли на своем, прибегая чаще к пассивному сопротивлению, не пренебрегая в крайних случаях и активным выступлением.[7] Русское крестьянство вовсе не являлось «калужским тестом», из которого государство могло печь какие угодно кренделя, как полагали некоторые дореволюционные историки.

Обсуждение сугубо внутриобщинных дел на сходах носило более мирный характер, однако конфликтные ситуации часто возникали и здесь. Во-первых, между отдельными крестьянами или группами крестьян постоянно существовали противоречия на экономической и личной почве. Во-вторых, и это самое главное, решения по внутриобщинным делам не могли оставаться в рамках неформальной структуры, они должны были согласовываться с требованиями формальной структуры. Ведь выборные несли уголовную ответственность за неправильное с точки зрения властей поведение схода. А крестьяне не желали жертвовать имуществом и свободой своих лидеров.

Таким образом, неформальная структура имела определяющее значение в жизни общины, адаптируя, а иногда и подчиняя себе структуру формальную. Обе структуры находились в постоянном взаимодействии и противостоянии, лишь изредка сливаясь всеми своими элементами. Правительству удалось вовлечь представителей общинного самоуправления в систему государственной администрации, инкорпорировать общину в государственную систему в качестве административной ячейки и с ее помощью проводить свою политику и идеологию среди крестьян. Это явление нашло отражение в крестьянской пословице: «На мир ничего не сменяют» (то есть начальство подорожит миром). И, несмотря на это, правительство не

смогло превратить общинное управление в простой придаток государственной машины, а общину — в чисто формальную официальную организацию. Не имея возможности в силу недостатка бюрократических средств контролировать даже доходы крестьянства и ввести государственное подоходное налогообложение, а тем более организовать производственный процесс в общине, правительство вынуждено было предоставить крестьянам значительную автономию. А поскольку выборные часто менялись и мирские должности не закреплялись за отдельными лицами или семьями надолго и сход являлся постоянно действующим органом, то практически всем мужчинам приходилось заниматься общественными делами. Благодаря этому власть в общине не была отчуждена от рядовых ее членов и носила коллективный характер, а продвижение крестьян по иерархической лестнице формальной структуры общины обусловливалось не столько лояльностью к правительственной администрации, сколько личной привлекательностью, компетенцией, дружескими и родственными связями. Вместе с тем следует отметить, что хотя власть в общине носила коллективный характер, женщины, молодежь и мужчины, не имевшие самостоятельного хозяйства, по обычному праву не участвовали в сходах и были отстранены от управления, а значит, и от власти. В этом проявлялась ограниченность внутриобщинной демократии.

Община — социальная группа. Особенности структуры и деятельности общины позволяют рассматривать ее как социальную группу (в социологическом смысле этого термина).

Несмотря на некоторый формализм и порой значительную численность общины, крестьяне имели непосредственное общение друг с другом — контакт лицом к лицу, как говорят социологи. В общине наблюдались интимные, человеческие отношения между людьми, которые строились не на субординации, а на симпатии или неприязни, на родственной или соседской основе, на материальной или моральной зависимости. Причем межличностные отношения захватывали всю личность целиком и в этом смысле носили целостный, персональный характер. Это нашло отражение в том примечательном факте, что все взрослые общинники, а часто и дети называли друг друга не по именам и фамилиям, а по прозвищам, таким как Хитра, Рябуха, Телятник, Душечка, Тигра, Волк и др. Эти прозвища

отражали отличительные, внутренние или внешние, особенности крестьян.

Однообщинники интенсивно взаимодействовали и находились в сильной взаимозависимости. Не найдем, пожалуй, ни одного социально значимого поступка крестьянина (в рамках общины, конечно) или важного события в его жизни, которые бы не попадали под влияние (формальное или неформальное) общины. Земельный надел и пользование угодьями, несение повинностей и раздел наследства, уход на заработки и отправление культа, призрение сирот и заведение школы, падеж скота и пожар, свадьба и рождение, болезнь и смерть членов общины, семейная ссора и многое другое находились в сфере общинного действия. Для крестьянина община была главнейшей референтной социальной группой, превосходившей для него по значимости даже первичные — родственные и соседские — группы. Она захватывала не часть его жизненной активности и не некоторые черты его личности, а всего целиком.

Другая важная особенность общины состояла в том, что социализация (усвоение подрастающим поколением определенных социальных функций, методов труда, установок, способов поведения, образа мышления, картины мира, системы групповых ценностей, ориентаций, норм поведения, мнений по поводу кардинальных социальных проблем) происходила в самой общине посредством прямого опыта, устной традиции, живых примеров. Подобный тип социализации (обусловленный тем, что даже в 1880-е гг. около 90% крестьян были еще неграмотны) приводил к тому, что в общине преобладала бесконфликтная — *в культурном и идеологическом отношениях* — преемственность поколений. Проблема отцов и детей возникает чаще всего не из разницы возраста и различия характеров, а из разницы культурных образцов. У подрастающего же поколения практически не было проблемы выбора системы ценностей, идеологических, политических, религиозных и других концепций, почти не было проблемы выбора профессии. Отсутствие культурных альтернатив чрезвычайно облегчало ему вхождение в общий ход жизни общины. Разумеется, между поколениями имелись серьезные житейско-бытовые и психологические противоречия. Однако ввиду их преходящего и непринципиального характера они не подрывали сколько-нибудь существенно культурную преемственность поколений. Указанный тип

социализации привязывал отцов и детей друг к другу, ставил детей в сильную зависимость от отцов, возвышал авторитет старших, ориентировал молодое поколение на традицию — типичная ситуация во всех тех культурах, которые основываются исключительно на устной и прямой передаче опыта от одного поколения к другому.

В результате социализации, а также под влиянием сильного социального контроля крестьянин органически срастался с общиной, с ролью (при этом набор ролей определялся традицией, а конкретная роль крестьянина — личными качествами и обстоятельствами) и соответствующим роли статусом, крестьянское «я» как бы растворялось в «мы». В итоге — незаметная и неощутимая крестьянином регламентация всей его жизни, следование (чаще бессознательное, чем сознательное) сложившимся в общине стереотипам и образцам.

Важно отметить, что слияние крестьянина с общиной не воспринималось им как нарушение прав личности, ему не казалось, что он порабощен общиной. Чувство «я» было еще недостаточно развито в нем, поэтому отдельный крестьянин добровольно стремился органически слиться с общиной. Ярчайшим проявлением этого являлось то, что решения на сходах принимались, как правило, единогласно, а если поначалу единогласия не было, то его коллективно добивались — иногда долго и упорно — путем компромиссов и убеждения несогласных. Хотя в слиянии крестьянина с общиной и заключалась потенциальная возможность вынужденного, или насильственного, подчинения меньшинства большинству, в исследуемое время эта возможность реализовывалась редко, принудительное подчинение рассматривалось крестьянами как экстраординарный и нежелательный случай. Указанные отношения крестьянина с общиной можно назвать *органическим и добровольным конформизмом*. Это был конформизм политический, идейный, моральный, социальный, он приводил к стандартизации крестьянских потребностей и интересов.

Органический конформизм крестьянина находит подтверждение в низком уровне отклоняющегося поведения в деревне. Преступность в городе в 1860—1880-е гг. была почти в 2 раза выше, самоубийства случались в 2 раза чаще, чем в деревне, реже среди крестьян наблюдались и разводы,[8] потому что горожане и некрестьянские сословия, кроме духовенства, в меньшей степени испытывали

сильный социальный контроль своих референтных социальных групп, были более индивидуальны и мобильны, чем крестьяне.

Этнографический материал показывает, что в материальной культуре, в обычаях и привычках крестьян — в одежде, жилище, сельскохозяйственных орудиях, трудовых навыках, режиме крестьянского дня, в том, как матери ухаживают за ребенком, как крестьяне женятся, хоронят, отмечают праздники и т. д., — имелось удивительное сходство, которое особенно заметно проявлялось в пределах одной общины. Этнографические данные свидетельствуют и об отсутствии в среде крестьян в рассматриваемое время понятия моды. Ни в одежде, ни в прическе, ни в убранстве жилища, ни в чем-либо другом крестьяне не следовали моде. Перемены, наблюдаемые в предметах быта, были редкими и обусловливались не модой, а экономической необходимостью или целесообразностью. Согласно мнению социологов, отсутствие моды указывает на отсутствие стремления к индивидуализации, к выделению человеком себя из общей массы. Однообразие предметов материальной культуры и образцов поведения, отсутствие сильного стремления к индивидуализации и есть проявление органического конформизма крестьянства.

Разумеется, община не могла полностью сковать, поглотить крестьянина. Абсолютного слияния крестьянина с общиной не было и не могло быть. Он не стал роботом, действовавшим по заданным общиной шаблонам. Община оставляла простор для вариаций и оригинальности, за человеком оставалась и возможность открытого мятежа. Проявление индивидуальности допускалось как в рамках общины (во внутрисемейных отношениях, во время работы на своем поле и в своем хозяйстве), так и за ее пределами (во время отхода, поездки на ярмарку, в город, хотя покидать общину можно было только с ее разрешения). В тех вопросах, которые затрагивали интересы общины в целом, поведение крестьянина жестко нормировалось и отклонения от нормы оказывались минимальными, поскольку возможности воздействия отдельного крестьянина на общину были ничтожны, в то время как возможности воздействия общины на крестьянина — безграничны.

Конформизм крестьянина в значительной мере стал возможным вследствие другой особенности общины — общности интересов большинства крестьян, социальной

однородности, сильного внутреннего единства, сплоченности общины. Несмотря на уравнительное распределение земли и круговую поруку, крестьянство в общине не было в имущественном отношении однородным. Крестьянские хозяйства по уровню дохода образовывали непрерывный ряд (как говорят социологи, континуум) от неимущих хозяйств (дефицитных хозяйств без земли, а иногда без скота и инвентаря, получавших средства к жизни продажей рабочей силы) до богатых (хозяйств с несколькими тысячами рублей годового дохода от земледелия, торговых и промышленных заведений, использовавших труд батраков), другими словами, от полупролетарских до капиталистических хозяйств. Все многообразие хозяйств можно сгруппировать в несколько типов, количество которых варьируется в зависимости от конкретной общины и исследовательских целей. Для нас важно не число типов хозяйств, а те качественные, социальные различия, которые имелись между крайними группами хозяйств, составлявшими меньшинство. Дифференциация же большинства крестьянских хозяйств и, следовательно, крестьян носила не качественный, а количественный характер, так как социально-экономическая природа всех промежуточных типов хозяйств была едина, — это были трудовые потребительские хозяйства, использовавшие главным образом труд членов семьи и ставившие своей целью не получение прибыли, а достижение баланса между потребностями и доходом. Ввиду малочисленности сельской буржуазии и пролетариата они не могли еще определять характер и направление жизни общины.

Численное преобладание трудовых потребительских хозяйств в условиях довольно широкого развития товарно-денежных отношений в деревне стало возможным благодаря уравнивающему механизму, действовавшему в общине, который включал следующие объективные и субъективные элементы.

1. Систематическое уравнительное перераспределение земли между крестьянами, препятствовавшее мобилизации земли в руках богатого меньшинства.

2. Низкий агротехнический уровень и слабая продуктивность сельского хозяйства (в Европейской России средняя урожайность зерновых на крестьянских землях составляла в 1861—1870 гг. 4.64 центнера с гектара, в 1881—1890 гг. — 4.99),[9] затруднявшие как получение

высоких доходов, так и значительные накопления капитала.

3. Отставание темпов роста продуктивности сельского хозяйства от темпов роста сельского населения, что приводило к снижению доходов на душу сельского населения.[10]

4. Общая обремененность крестьянства налогами и повинностями, превышавшими доходность их хозяйства,[11] что резко снижало возможность накопления капитала для большинства крестьян.

5. Неблагоприятный баланс рабочего времени — 1/3 дней в году являлись нерабочими,[12] что отрицательно сказывалось на доходах крестьянских хозяйств.

6. Экономическое поведение крестьян, ориентированное на потребление.

7. Круговая порука, вынуждавшая богатых крестьян не только оплачивать недоимки бедных, но и поддерживать их или во всяком случае не способствовать окончательному разорению бедняцких хозяйств.

8. Система мер, разработанная в общине по регламентации степени дифференциации крестьянства.

Меры, регламентирующие дифференциацию крестьянства, являлись исключительно прерогативой общины. Поэтому рассмотрим их подробнее. Прежде всего отметим, что община не стремилась и не могла полностью и во всех отношениях нивелировать крестьян. Поэтому в данном случае речь идет лишь о поддержании ею *некоторого предела* в различиях. Меры по нивелированию были многообразны и зависели от конкретных условий, в которых находились отдельные общины. Важнейшими из них являлись общественная служба, благотворительность, «помочи», рекрутство, прогрессивное налогообложение.

В общине имелись трехгодичные, одногодичные и полугодичные выборные должности, общинники избирали из своей среды представителей в волостные органы управления и суда. Формально любой крестьянин мог стать выборным. Практически же наиболее важные выборные и престижные должности занимали зажиточные крестьяне, прочие — середняки и бедняки. Но наиболее важные выборные должности были связаны с наибольшими потерями рабочего времени, с более частыми материальными убытками и отрывом от хозяйства. Эти потери не компенсировали жалованье и незначительные льготы выборным

высших категорий. По некоторым, вероятно преувеличенным, расчетам общественные дела на выборных должностях в среднем поглощали до трети годового бюджета времени у крестьянина. Эти потери рабочего времени неравномерно распределялись между отдельными социальными слоями в общине, в значительно большей степени падая на высший слой.

В среде крестьянства существовал обычай благотворительности: на «достаточных» крестьянах лежала моральная обязанность жертвовать на вдов, сирот, церковь, школу и т. п. Считалось большим грехом отказать человеку, просящему милостыню, на чем основывался широко распространенный среди крестьянства обычай «ходить в кусочки». Когда в семье кончались деньги и хлеб — основной продукт питания, то хозяин не торопился продавать свое имущество. Он отправлял сначала детей, потом женщин и, наконец, сам шел просить «ради Христа» хлеб в своей деревне, а если этого не хватало, то и в соседние. Дать просящему хотя бы кусочек хлеба считалось моральным долгом. Таким способом семья могла продержаться до нового урожая, сохранив в целостности свои скот и инвентарь. «Нищенство на Руси, — свидетельствует известный писатель В. Г. Короленко, — это грандиозная народная сила, изменчивая и упругая, то поглощающая в себе (в неурожайные годы. — *Б. М.*) огромные массы, то опять выделяющая их из своих недр».[13] Благотворительность, не уменьшая, конечно, неравенства, отчасти помогала беднейшему крестьянству некоторое время продержаться, сохранить свое хозяйство. Подобную же цель преследовал и обычай «помочи», то есть взаимопомощи, односельчан. Для исполнения трудоемких и спешных работ соседи, а иногда и вся община приходили на помощь к крестьянину, попавшему в тяжелое положение вследствие болезни, пожара, падежа скота и т. д., и работали у него целый день бесплатно, за угощение в конце работы.

Нивелирующую роль в общине играла рекрутская повинность, которая до введения всеобщей воинской повинности в 1874 г. носила общинный характер (правительство предъявляло требование к общине о поставке определенного числа рекрутов, не вмешиваясь в вопрос, кого конкретно она определит). Пользуясь предоставленной свободой, община в соответствии с обычаем отправ-

ляла в солдаты в первую очередь крестьян с отклоняющимся поведением, затем беднейших крестьян и потом «очередных», то есть тех, кто должен был идти на военную службу на общем основании. Зажиточные крестьяне имели возможность откупиться от воинской повинности. Поскольку до 1874 г. солдаты практически домой не возвращались, община с помощью рекрутства освобождалась от неконформистских элементов и от бедняков, а с зажиточных брала своего рода выкуп. Все вместе способствовало нивелировке крестьянства как в моральном, так и в материальном отношениях. С 1874 г., после введения всеобщей воинской повинности, нивелирующее значение последней, конечно, понизилось, поскольку солдаты, как правило, возвращались после действительной службы домой.

Уравнивающий механизм существенно затруднял возможность концентрации у крестьянина-земледельца значительного капитала, необходимого для перехода от потребительского к капиталистическому хозяйству. Не случайно почти вся сельская буржуазия выросла из торговли и промышленности. Описанные меры по нивелировке крестьянства не могли, разумеется, устранить дифференциацию, но до известной степени сглаживали ее. При этом в тех местностях, где развиты были неземледельческие промыслы и дифференциация достигала наибольших размеров, община чаще применяла меры, сдерживающие отрыв верхнего социального слоя, а в земледельческих местностях она активнее поддерживала от разорения низший слой крестьянства.

Сходство социально-экономической природы большинства крестьянских хозяйств приводило к тому, что основные слои крестьянства в целом положительно относились к общине. Лишь крайние и малочисленные группы крестьянства начинали тяготиться общиной, так как буржуазным элементам она мешала эксплуатировать однообщинников, а пролетарским — окончательно развязаться с общиной и переселиться в город. Этим объясняется то, что в ходе столыпинской аграрной реформы начала XX в. из общины выходили прежде всего крайние группы.

При оценке единства и сплоченности, или, как говорят социологи, консенсуса, в общине важно учесть то, что принимали в расчет сами крестьяне, — неустойчивость

крестьянского хозяйства: богатое хозяйство завтра могло стать и становилось бедным, а бедное — богатым, поскольку значительное большинство крестьян в течение своей жизни изменяло статус. Вследствие этого интересы большей части крестьян, которые учитывали и неустойчивость своего положения, и равенство прав и обязанностей, и равную зависимость от государства, принципиально совпадали. Абсолютное большинство крестьян держалось за общину и даже не мыслило своего существования вне ее. Крестьяне говорили: «Мир — велик человек; мир — великое дело»; «кто больше мира будет? С миром не поспоришь»; «где у мира рука, там моя голова».

Влияние общинной собственности на сплоченность общины — внешнюю и внутреннюю — бесспорно. Об этом говорит сравнение характера внутриобщинных отношений в среде русского и в среде украинского и белорусского крестьянства, где доминировала подворная наследственная, то есть частная, собственность на землю. Как показывают ответы на программу ВЭО, в среде белорусского крестьянства после отмены крепостного права отчетливо и в значительно большей степени, чем у русского, появились конкуренция, стремление зажиточных крестьян поживиться за счет бедных, экономическая дифференциация.

Мобильность крестьянства. Существенное значение для понимания общины имеет определение степени развития мобильности в среде крестьянства. Условия для ее развития в пореформенное время складывались противоречиво. С одной стороны, низкая плотность населения, редкость поселений (в 1860-е гг. в Европейской России средняя плотность населения составляла 13 человек на 1 кв. км, а среднее расстояние между населенными пунктами — 4.3 км), сословная обособленность крестьянства и неотчуждаемость надельной земли безусловно тормозили развитие мобильности. С другой стороны, недостаток земли и обремененность крестьянства платежами, порожденные условиями проведения реформы, а также развитие русской промышленности способствовали мобильности.

Горизонтальная мобильность крестьянства в 1860—1870-е гг. складывалась из миграций, промысловых занятий как по местожительству, так и в других местностях (фабрично-заводские, кустарные, ремесленные, торговые промыслы), из кратковременных поездок в город,

на базар, ярмарку и из переходов в соседние (в пределах уезда) общины. В 1860-е гг. в горизонтальную мобильность было вовлечено около 14%, а в 1870-е гг. — 27% всего населения Европейской России.[14] Однако лишь в немногих губерниях горизонтальная мобильность оказывала, по свидетельству современников, заметное влияние на крестьян и сельскую общину. Причем это воздействие отражалось главным образом на внешнем быте крестьян, жизненном уровне и пока слабо затрагивало их нравы, обычаи, производство. А если и затрагивало, то это касалось лишь тех крестьян, которые систематически и подолгу уходили из деревни в столицы и наиболее крупные города.

Можно указать на несколько причин, ограничивающих влияние горизонтальной мобильности на крестьянство. Во-первых, сказывались невысокий общий уровень мобильности , чрезвычайная неравномерность ее географического распространения и вовлеченность в нее преимущественно взрослых, большей частью женатых, мужчин, то есть вполне сформировавшихся людей. Кроме того, хотя деревня экономически довольно тесно взаимодействовала с городом — участвовала в географическом разделении труда и была вовлечена в систему всероссийского рынка, — отношения между городом и деревней строились не на равноправной основе. Деревня снабжала город сырьем, продовольствием, рабочей силой, а в обмен получала не столько технологию, товары и услуги, то есть городскую культуру, сколько деньги, которые шли в основном на уплату налогов и повинностей. Наконец, сословный характер русского общества, в иерархии которого крестьянство находилось внизу, представляя собой наиболее угнетенную и эксплуатируемую часть общества с особой культурой, юридической и социальной автономией, серьезно затруднял контакты крестьянства с другими сословиями. Даже попадая в город, крестьянство не растворялось в среде городского населения, а держалось со своей артелью и земляками обособленно, с трудом поддаваясь культурной ассимиляции. Влияние города на крестьян осуществлялось через своего рода культурное сито, которое обусловило избирательный способ усвоения крестьянами городской культуры, полное или частичное исключение наиболее важных и принципиальных ее элементов.

Вертикальная мобильность крестьянства складывалась из межсословной и внутриобщинной мобильности. Межсословная мобильность, как правило, была связана с переездом в город и припиской к рабочему классу, мещанству или купечеству. Поэтому динамика городского населения — хороший показатель уровня развития межсословной мобильности. В 1863—1885 гг. городское население Европейской России возросло с 6.1 до 10 млн. человек, или с 10 до 12%.[15] Если даже весь прирост городского населения за эти годы отнести на счет миграции крестьянства, то их ряды за 23 года покинуло всего 3.9 млн. человек, или 6.2% среднегодовой численности сельского населения за эти годы. Притока же из других сословий крестьяне практически не имели. Следовательно, межсословная мобильность захватывала менее 177 тыс. человек в год — около 0.28% сельского населения.

Важным каналом вертикальной мобильности являлась армия. До 1874 г. служба в армии продолжалась 25 лет, крестьяне практически не возвращались в деревню. И все же как ни парадоксально, влияние данного канала мобильности было значительным и стабилизирующим: община, как уже говорилось, сбывала в армию бедняков и лиц с отклоняющимся поведением, проводя тем самым как бы чистку своих рядов, социальный отбор. С 1874 г. влияние армии становилось дестабилизирующим для общины. 5—7-летняя воинская служба расширяла кругозор крестьян, приучала их к иным, лучшим условиям жизни в отношении питания и гигиены. Однако в 1880-е гг. влияние воинской службы еще никак не сказалось. Вероятно, это можно объяснить краткостью существования всеобщей воинской повинности, а также тем, что только третья часть крестьян проходила через армию.

Низкая межсословная мобильность крестьянства была вызвана сословным характером русского общества, серьезными юридическими препятствиями для перехода из одного сословия в другое, а также сдерживанием общинной социальной дифференциации крестьянства. Распределение земли в соответствии с рабочими возможностями крестьянских семей, запрещение во многих случаях ликвидировать хозяйства и распродавать скот, круговая порука в несении повинностей, регламентация хозяйственной деятельности и другие особенности общинной жизни серьезно препятствовали поляризации крестьянства,

увеличению социальной дистанции между разными слоями внутри общины и в конечном счете затрудняли переход крестьян в другие профессионально-сословные группы.

Как мы видели в главе II, несмотря на высокую внутриобщинную мобильность, в общине постепенно появлялись наследственные бедняки и богатеи, и чем дальше, тем больше. Однако крайние группы нередко покидали деревню и уходили в город, в промышленность, торговлю и т. п. — им трудно было найти применение своим силам в общине. Частичный выброс «социальных отходов» из общины и затрудненность проникновения в нее лиц городского торгово-промышленного класса служили дополнительным фактором длительного сохранения социально-экономической однородности крестьянства.

В целом уровень и характер мобильности крестьянства в 1860—1880-е гг. позволяют говорить об общине как о полузакрытой социальной организации, как о своего рода «*локализованном микрокосме*»,[16] в котором доминировали местные интересы. Вследствие этого крестьянство представляло собой не просто сословие, а «особый мир, в самих основах своего гражданского правопорядка резко отличающийся от всех остальных общественных групп населения России».[17]

Принципы общинной жизни и динамика общины. Анализ функционирования общины обнаруживает следующие главные принципы, которыми она руководствовалась в своей деятельности.

1. Демократический централизм: главенство интересов всей общины над интересами отдельных крестьян (семей).

2. Коллективность ответственности: за крестьянина перед государством отвечает община, перед общиной — семья.

3. Допущение индивидуальности и инициативы со стороны отдельных членов в практической реализации принципов общинной жизни, но в рамках традиции и обычаев.

4. Полное равенство прав и обязанностей крестьян (семей), регламентация любой дифференциации между ними.

5. Право всех крестьян на собственность и труд, которое реализовывалось с помощью общего, равного пользования всем достоянием общины, обеспечения всех

членов общины средствами к жизни и поддержания платежеспособности каждой крестьянской семьи.

6. Право на участие в общественных делах (на сходах, в крестьянском суде, на выборных должностях).

7. Право отдельных семей на помощь общины в кризисных ситуациях.

8. Невмешательство общины во внутрисемейные и личные дела своих членов до тех пор, пока они совершаются в пределах обычаев и традиции и не нарушают интересов общины в целом.

9. Традиционализм, ориентация на старину как на образец.

В указанных принципах общинной жизни институциализировались социальные, экономические, семейные отношения крестьян внутри общины.

Принципы являлись нормами, неписаными законами общинной жизни и потому носили идеальный характер. Они реализовывались на практике в каждодневной острой борьбе между теми крестьянами, которым в данный момент соблюдение этих принципов было выгодно, и теми, для кого они служили помехой, создавали неудобство, словом, были невыгодны. Например, решение схода о переделе земли принималось после упорной, порой продолжавшейся несколько лет борьбы, и лишь тогда, когда передел становился выгодным большинству общинников. В тех же случаях, когда перевес оказывался на стороне противников принципов общинной жизни, они нарушались, искажались, трансформировались. Кроме временных противников в общине 60—70-х гг. XIX в. выкристаллизировалось незначительное, но устойчивое меньшинство принципиальных и постоянных противников норм общинной жизни, которое занималось систематической дезорганизацией ее традиционных устоев. Вследствие этого в общине постоянно шла борьба, с одной стороны, между принципиальными противниками — буржуазными элементами и традиционным большинством — за то, быть или не быть общинным принципам, с другой — между принципиальными единомышленниками за то, как их конкретно реализовывать. Поскольку указанные принципы в целом соответствовали потребностям и интересам средних крестьян, которых было большинство, то чаще торжествовали именно середняки, а с ними и их принципы. Но, конечно, это была лишь тенденция, в борьбе пробивавшая себе

дорогу, на которую все время возвращалось крестьянство. Русская община, несмотря на коллективистский дух, вовсе не являлась благотворительным учреждением, а русский крестьянин, несмотря на его готовность жертвовать личными интересами во имя общих, не был филантропом. «У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации», — свидетельствовал А. Н. Энгельгардт, человек народнических воззрений. Победе общинных принципов способствовало то, что крестьянин становился кулаком и эксплуататором при случае, при возможности. «Пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей, это еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались, не действует в этом направлении. Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде».[18]

При полной реализации указанных принципов получалась идеальная община с развитым мирским духом, что случалось сравнительно редко. Преобладающее большинство общин образовывало ряд от общин со слабым мирским духом до общин с сильным мирским духом. Поэтому можно сказать, что конкретные общины адаптировались к различным и изменяющимся условиям существования в рамках указанных принципов, но уклонялись от них в ту или иную сторону и применяли специфические средства для их реализации. Поясним нашу мысль на нескольких примерах.

Принцип обеспечения всех членов общины средствами к жизни осуществлялся посредством регулярных переделов земельного фонда общины. Однако системы разверстки земли между членами общины различались. В зависимости от экономических условий жизни крестьянства действовали либо тягольная, либо подушная, либо смешанная системы. По первой системе разверстки земли во внимание принимались только мужчины рабочего возраста, по второй — все наличные мужчины, по третьей — кроме мужчин еще и иные признаки состава и благосостояния семьи. Крестьяне выбирали ту систему, которая в данном конкретном случае наилучшим образом соответствовала принципу обеспечения всех членов общины средствами к жизни. Тягольная разверстка принималась там, где надельная

земля ввиду низкой ее доходности не являлась главным источником благосостояния и где больший доход давали отхожие промыслы. Если бы община в таких случаях применила подушную разверстку земли, то многодетные семьи, обремененные малодоходной землей и соответствующими ей значительными повинностями, были бы поставлены в крайне тяжелое положение, а община в целом оказалась бы неплатежеспособной. Чтобы сохранить за собой надельную землю (хотя бы в видах благоприятного будущего) и в то же время выдержать бремя налогов, следовало распределять землю между хозяйствами в соответствии с числом работников в них — главных источников дохода. Так и поступала община. Напротив, в тех общинах, где платежные силы хозяйства находились в большем соответствии с величиной земли, то есть основной доход хозяйства поступал от земли и последняя рассматривалась крестьянами как благо, а не бремя, применялась подушная разверстка. Наконец, смешанная система разверстки земли применялась либо там, где платежная сила хозяйства находилась в полном соответствии с количеством земли, либо там, где были развиты местные неземледельческие промыслы. В этих случаях община при распределении земли принимала в расчет и число работников, и число едоков, и имущественное положение хозяйства.

При распределении между хозяйствами суммы платежей, которая ежегодно спускалась государством на каждую общину, все общины исходили из принципа равенства и поддержания платежеспособности каждого крестьянского двора. Однако системы разверстки платежей были разными. В одних случаях платежи устанавливались в зависимости от количества надельной земли в хозяйстве, в других — от количества скота, в третьих — от промысловых доходов, в четвертых — от общей доходности хозяйства. В целом же платежи находились в соответствии с теми признаками хозяйства, которые характеризовали в данных местных условиях экономическую силу двора. При этом община руководствовалась прежде всего принципом пропорциональности платежей доходности хозяйства. Но в тех случаях, когда появлялись деградирующие от разных случайных обстоятельств (пожар, падеж скота и т. п.) хозяйства, либо «захудалые» дворы, община давала им временные льготы: освобождала от всех или части платежей и недоимок, давала отсрочку или беспро-

центный заём и т. п. Эта помощь оказывалась преимущественно за счет зажиточных хозяйств. Здесь явно проглядывают зачатки прогрессивного обложения. Некоторые же общины прямо практиковали его.

Стабильность общинной организации и ее причины. Сравнивая общину 1860—1870-х гг. с предреформенной общиной, мы не замечаем сколько-нибудь серьезных изменений в ее структуре и функционировании и не только не видим отхода от принципов общинной жизни, выработанных в предреформенную эпоху,[19] но, наоборот, находим их более строгое, последовательное и в то же время более гибкое проведение. В чем это проявилось?

После продолжительной заминки с конца 1870-х гг. по всей России прокатывается движение за переделы, которое заканчивается утверждением их в практике крестьянского землепользования. Одновременно с этим происходят переход к более уравнительным критериям распределения земли и распространение уравнительного принципа распределения на усадебную землю и лес. Принципы общинной жизни свободно, без давления извне укореняются среди бывших помещичьих крестьян. В громадном большинстве случаев крестьяне высказались за передельную общину, лишь ничтожная их часть воспользовалась правом выкупить надельную землю и отделиться от общины, а переход от общинного к подворному землевладению имел место в единичных деревнях, да и то под давлением местного начальства. Таковы итоги не только анализа ответов на анкету ВЭО, но и сплошного статистического анализа состояния общины в 133 уездах 24 губерний Европейской России, проведенного земскими статистиками в 1880—начале 1890-х гг. В 37 великороссийских губерниях община укрепилась. Если в 1877—1878 гг. на долю общинного землевладения приходилось 89% всех крестьянских дворов и 92.2% всей земли, то к 1905 г. — соответственно 89.5 и 93.3%. В целом по России позиции общинного землевладения сохранились.[20] К началу столыпинской реформы в 1906 г. русская передельная община пришла живой и действующей.[21] Отсюда можно сделать вывод, что в стремлении выжить крестьянство в массе своей обращалось преимущественно к традиционным, а не новым способам достижения жизненных целей. Альтернативу общине искала и находила лишь немногочисленная часть крестьянства, отколовшаяся от

нее и занятая в основном торговлей и промышленностью или продажей своей рабочей силы. Надежды на лучшую жизнь крестьянство по-прежнему связывало с общиной и с новой аграрной реформой, которая якобы отдаст в руки общины всю помещичью землю без выкупа.[22]

Почему же община оказалась таким «выносливым» социальным институтом? Предполагаем, что она была очень стабильной социальной организацией по следующим причинам.

1. Социальный и целевой дуализм общины служил для нее источником большой жизненной силы, гибкости, приспособляемости, во-первых, потому что позволял общине удовлетворять интересы и государства, и крестьян и, во-вторых, потому что мирская собственность и обусловленные ею общественные отношения придавали прочность общинным устоям, «в то время как частный дом, парцеллярная обработка пахотной земли и частное присвоение ее плодов допускают развитие личности. . .».[23]

2. Обеспечивая крестьян средствами к жизни, сдерживая дифференциацию и систематически выбрасывая за пределы общины лиц с отклоняющимися от модальных признаками, регламентируя хозяйственную деятельность своих членов, отвечая интересам большинства и встречая его поддержку, община трудно разрушалась изнутри.

3. Встречая законодательную и административную поддержку государства и моральную поддержку церкви, община утверждалась извне.

4. Сословная замкнутость, невысокая мобильность, социализация путем непосредственной передачи опыта, низкая грамотность и слабая осведомленность о внешнем мире препятствовали обогащению общины новыми образцами деятельности, консервировали ее нормы и ценности.

5. Низкая плотность населения, долгое время создававшая возможность ведения экстенсивного хозяйства, сдерживала развитие разделения труда и крестьянских неземледельческих занятий.

6. Слабое развитие личности в крестьянине и особая ментальность, ориентированная на традицию как на основополагающий принцип жизни, сплачивали общину.

Отсюда следует, что община несовместима с интенсивным рыночным хозяйством, со значительной имуществен-

ной, социальной и культурной дифференциацией людей, с формальной рациональностью, с ярко выраженным индивидуализмом. Если же говорить о развитии пореформенной России в целом, то страна приобретала именно те черты капиталистического общества, которые несовместимы с ценностями и принципами, утвержденными общиной — институтом традиционного общества. Поскольку община не существовала в социальном, экономическом и культурном вакууме, а являлась частью большого общества, дни ее жизни, несмотря на феноменальную живучесть, были сочтены. Да и в самой общине наблюдались явления — недостаток ресурсов, рост индивидуализации, дифференциации, грамотности, мобильности, развитие нуклеарной семьи, — которые, хотя и проявлялись пока лишь как тенденции, подтачивали общину изнутри и в перспективе грозили ей разрушением. Однако из переходного кризисного периода, который переживала община, она могла выйти разными путями. Вследствие своего дуализма русская сельская община могла трансформироваться в многосемейное коллективное хозяйство, в большое капиталистическое аграрно-промышленное предприятие, в кооператив или в современное семейное товарно-денежное хозяйство. Это зависело от путей развития большого общества.

Подчеркнем, что русская сельская община являлась по-своему рациональной социальной и хозяйственной организацией. Недостатки общины как социальной организации (традиционализм, сдерживание инициативы и мобильности, поглощение личности, неспособность обеспечить высокую производительность труда и соответственно высокий жизненный уровень) компенсировали и уравновешивали ее позитивные с точки зрения большинства крестьян стороны — преобладание неформальных человеческих отношений между людьми, консолидация и защита крестьян от наступления государства на права и жизненный уровень, сдерживание всех видов неравенства, обеспечение средствами к жизни. Иные социальные и хозяйственные организации крестьянства, действовавшие на территории России, такие как община с подворным владением или хуторская система, сильнее способствовали агротехническому прогрессу и в конечном итоге обеспечивали более высокий жизненный уровень. Однако они

с неизбежностью ускоряли развитие социального и иного неравенства и появление неимущих. Русское крестьянство из двух «зол» выбрало, по его мнению, наименьшее. В этом смысле община как социальный институт соответствовала насущным потребностям крестьян.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

В чем особенности предлагаемого социологического подхода к исследованию общины? Этот подход преимущественно дедуктивный, качественный, аналитический (делается акцент на общее, повторяющееся и отдается предпочтение логическим конструкциям, схемам концептуального плана), экспериментальный (в методическом смысле).

Остановимся на этом подробнее.

С помощью *системного анализа*[24] были выявлены повторяющиеся, общие, типичные закономерные черты в структуре и функциях общины. Рассмотрев общину как социальную систему, которая несет в себе черты малой группы и вместе с тем обладает всеми свойствами социальной организации, и основываясь на конкретных исторических данных о жизни общины, мы построили модель общины. Эта модель собрала в себе наиболее характерные черты общины как социальной организации.[25] Причем не все элементы структуры, не все функции «мира» с одинаковой ясностью непосредственно прощупываются в исторических источниках. Особенно это относится к элементам неформальной структуры и к скрытым от господствующего класса функциям общины, поскольку они маскировались крестьянами и не могли поэтому отразиться в источниках в явной форме. Но опыт анализа других социальных организаций, осуществленный этнографами и социологами, дает возможность сначала предположить, что эти элементы существуют и действуют в общине, а затем и обнаружить их в источниках.

Разумеется, социологическая модель общины воспроизводит лишь некоторые важные стороны конкретных общин, отвлекаясь от многих второстепенных их сторон, географических и хронологических особенностей. Однако это не лишает модель познавательной ценности. В частности, модель может быть использована для объяснения на новых объектах уже известных свойств и связей общины, для реконструкции конкретных общин, по которым не сохра-

нилось достаточных сведений в исторических источниках, для выявления новых аспектов, качеств, черт и отношений общины, о которых источники говорят слишком «глухо» или информация о которых содержится в источниках в скрытом виде.

Следует подчеркнуть,что системный анализ для изучения общины был выбран не случайно. Опыт применения его в современных социальных исследованиях показал, что он наиболее эффективно может быть использован, во-первых, при изучении ограниченных, изолированных обществ, где сравнительно легко выявить структурные элементы социальной системы и их явные и скрытые функции, обнаружить связи элементов с целым; во-вторых, при исследовании устойчивых, интегрированных социальных систем. Именно такой изолированной, ограниченной, устойчивой и интегрированной системой была русская поземельная община.

Какой же вклад в изучение общины может дать социологический подход? Социологический подход позволяет построить модель общины и понять общину как функционирующий социальный организм, все элементы которого образуют взаимосвязанную и взаимообусловленную систему, способную к устойчивому длительному существованию.

Вместе с тем социологический подход к общине расширяет аналитические рамки ее изучения, поднимает новые вопросы, например о существовании и функционировании формальной и неформальной структур, социальном контроле и общественном мнении, ролевой структуре и лидерах, социализации, соотношении личности и группы, социальной мобильности и некоторые другие. Причем следует отметить, что в данном случае речь идет не о простой замене исторической терминологии социологической (хотя и в этом есть определенный смысл — нахождение общего языка с социологами), а либо об ином взгляде на тот же самый объект изучения, либо о выделении в нем нового аспекта.

Наконец, социологический подход обогащает, что, пожалуй, особенно ценно, исторический подход концептуальными схемами анализа, наподобие таких, как «социальная система», «социальная группа», «тип», «структура», «функция» и др. Их использование дает направление эмпирическо-историческому анализу, позволяет

учитывать опыт, накопленный социологами и другими социальными исследователями в изучении иных социальных групп. Имея представление о том, как решают эти вопросы социологи, значительно легче работать с историческими источниками, выявлять в них скрытую информацию.

Опыт социологического анализа общины со всей очевидностью обнаружил, что социологический подход не подменяет исторический, не является его альтернативой, а дополняет и продолжает его, тем самым расширяя и углубляя наше понимание общины. Более того, сам социологический подход стал возможным только благодаря кропотливому, трудоемкому анализу конкретных исторических фактов, извлеченных историками из источников.

---

[1] См., например: *Громыко М. М.* Трудовые традиции русских крестьян Сибири. Новосибирск, 1975. 351 с.; Ежегодник по аграрной истории. Вып. VI. Проблемы истории русской общины. Вологда, 1976. 160 с.; Крестьянская община в Сибири XVII—начала XX в. Новосибирск, 1977. 287 с.; *Зырянов П. Н.* 1) Некоторые черты эволюции крестьянского «мира» в пореформенную эпоху. — В кн.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1971 г. Вильнюс, 1974, с. 380—387; 2) Роль крестьянской общины в использовании и восстановлении естественных ресурсов. — В кн.: Общество и природа. М., 1981, с. 196—212; *Кучумова Л. И.* Сельская поземельная община Европейской России в 60—70-е годы XIX в. — Ист. зап., 1981, т. 106, с. 323—347; *Прокофьева Л. С.* Крестьянская община в России во второй половине XVIII—первой половине XIX века. Л., 1982. 215 с.; *Шапиро А. Л.* Крестьянская община в крупных вотчинах первой половины XVIII в. — Учен. зап. Сарат. гос. ун-та, 1939, т. I(XIV), с. 47—74, и др.

[2] *Александров В. А.* Сельская община в России (XVII—начало XIX в.). М., 1976. 323 с.

[3] Описания частично опубликованы: Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины. СПб., 1880, т. I. 393 с. — В сборнике содержится программа обследования (с. 1—36). Бóльшая часть описаний (483) русских передельных общин и 32 описания белорусских подворных общин хранятся в Центральном государственном историческом архиве СССР (ЦГИА СССР, ф. 91 (ВЭО), оп. 2, д. 768—784). Обзор этих описаний см.: *Капустин С. Я.* Обзор материалов по общинному землевладению, хранящихся в Вольном экономическом обществе. — Русская мысль, 1890, кн. 1, с. 16—33; кн. 3, с. 20—40; кн. 4, с. 1—30; *Кучумова Л. И.* Из истории земельной общины в 1877—1880 годах. — История СССР, 1978, № 2, с. 115—126.

[4] Из-за недостатка места ссылки на отдельные дела даваться не будут.

[5] Подсчитано по данным: Статистический временник Российской империи. СПб., 1886, сер. III, вып. 10, с. 42—43, 113, 121, 129.

[6] Подсчитано по данным: Статистические материалы по волостному и сельскому управлению 34 губерний, в коих введены земские установления. Б. м., б. г., табл. 1(б).

[7] Например, в 1861—1863 гг. в 4% крестьянских селений борьба крестьян с правительством закончилась столкновением с войсками. См.: *Зайончковский П. А.* Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958, с. 131.

[8] *Новаковский В. А.* Опыт подведения итогов уголовной статистики с 1861 по 1871 г. СПб., 1891, с. 18; *Остроумов С. С.* Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980, с. 39; *Тарновский Е. Н.* 1) Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874—1894 гг.). — Журнал Министерства юстиции, 1889, № 7. Прил., с. 187; 2) Распределение преступности по профессиям. — Там же, 1907, № 8, с. 67—68; *Швейкин Н. П.* Умершие насильственно и внезапно в Европейской России в 1875—1887 гг. — Временник Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. СПб., 1894, № 35, с. II, V; *Бечаснов П.* Статистические данные о разводах и недействительных браках за 1867—1886 гг. — Там же, 1893, № 26, с. 30—31.

[9] Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1900 г. благосостояния сельского населения... СПб., 1903, ч. I, с. 177.

[10] Там же, с. 12—13, 176—177.

[11] *Дружинин Н. М.* Русская деревня на переломе : 1861—1880 гг. М., 1978, с. 124—133.

[12] *Астырев Н. М.* Праздники в крестьянском быту Московской губ. — В кн.: Статистический ежегодник Московского губернского земства. 1887 г. М., 1887, отд VIII, с. 1—26; *Васильчиков А. И.* Землевладение и земледелие. СПб., 1876, с. 582—584; Доклад высочайше учрежденной Комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России: Приложения. I. СПб., 1873, с. 201—224.

[13] *Короленко В. Г.* Собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 281.

[14] Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии..., 1903, ч. III, с. 226.

[15] *Рашин А. Г.* Население России за 100 лет (1811—1913 гг.). М., 1956, с. 98.

[16] *Маркс К.* Наброски ответа на письмо В. И. Засулич. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 405.

[17] *Никольский А.* Земля, община и труд : Особенности крестьянского правопорядка, их происхождение и значение. СПб., 1902, с. 109.

[18] *Энгельгардт А. Н.* Из деревни : 12 писем. 1872—1887. М., 1937, с. 395.

[19] *Александров В. А.* Сельская община в России...; *Алексеев С. Г.* Местное самоуправление русских крестьян XVIII—XIX вв. СПб., 1902, с. 117—159, 193—263; *Дружинин Н. М.* Крестьянская община в оценке А. Гакстгаузена и его русских современников. — В кн.: Ежегодник германской истории. М., 1968, с. 28—50; *Заблоцкий-Десятовский А. П.* 1) О недостатках общественного владения землей. — ЦГИА СССР, ф. 940 (Заблоцкий-Десятовский), оп. 1, д. 16; 2) Исторический очерк русских общин. — Там же, д. 296, 297, 313, 314; *Зайцев К. И.* Очерк истории самоуправления государственных крестьян. СПб., 1912. 204 с.; *Игнатович И. И.* Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Л., 1925, с. 71; *Панаев В. А.* Общинное землевладение и крестьянский вопрос. СПб., 1881, с. 1—69; *Прокофьева Л. С.* Крестьянская община...; *Соколов-*

ский П. А. Очерк сельской общины на Севере России. СПб., 1877, с. 158—183; *Уманец Ф. М.* Сельская община в России. — Отечественные записки, 1863, т. 150, с. 131—170, 463—500.

[20] *Лосицкий А. Е.* Распадение общины. СПб., 1912, с. 57—65.

[21] *Дубровский С. М.* Столыпинская земельная реформа. М., 1963, с. 189—199.

[22] *Анфимов А. М., Зырянов П. Н.* Некоторые черты эволюции русской крестьянской общины в пореформенный период (1861—1914 гг.) — История СССР, 1980, № 4, с. 30—35.

[23] *Маркс К.* Наброски ответа на письмо В. И. Засулич. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 404.

[24] О системном анализе см.: *Кузьмин В. П.* Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1980. 312 с.; *Афанасьев В. Г.* Системность и общество. М., 1980. 368 с.

[25] См.: *Андреева Г. М.* Социальная психология. М., 1980, с. 175—318; Социальная психология. М., 1975, с. 49—64, 244—280; *Пригожин А. И.* Социология организаций. М., 1980. 257 с.

Глава IV

В ПОИСКАХ СКРЫТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Всякий, кто удаляется от идей, в конце концов остается при одних ощущениях.

И.-В. Гёте

ИНФОРМАЦИЯ ЯВНАЯ И СКРЫТАЯ

Историческая наука, как и прикладная социология, призвана изучать общественную жизнь комплексно — во всех аспектах и проявлениях и в единстве объективных и субъективных факторов. Однако на практике существует некоторая асимметрия в сторону объективных факторов при изучении прошлого. Объясняется это не только различиями в задачах и предмете исторических и социологических исследований, не только тем, что историки изучают прошлое и проявляют недостаточный интерес к субъективным стремлениям, желаниям, ценностям и ориентациям людей, а в значительной мере и тем, что историки располагают, как правило, меньшей и более узкой источниковой базой для своих исследований. Как изучать историку роль субъективных факторов в каком-либо процессе или событии, если прямые данные о них отсутствуют? Вот почему историки проявляют меньший (сравнительно с социологами) интерес к субъективной стороне изучаемых событий и явлений общественной жизни.

Существенное различие в предмете исследований повлияло на отношение историков к прикладной социологии. Многие из тех методов, понятий, концепций, которая выработала социология для изучения субъективных аспектов общественной жизни, оказались практически бесполезными для историков и потому не вызывали у них интереса. Источниковые трудности стали, таким образом, серьезным барьером между историком и социологией. Применение в исторических исследованиях прикладной социологии предполагает преодоление этого барьера. Указанная задача тем более актуальна, что в последнее

время среди историков заметно пробудился интерес к субъективной стороне общественных явлений, в изучении которой прикладная социология накопила большой и весьма полезный опыт.

Важнейшим резервом расширения источниковой базы исторических исследований является *скрытая информация*, содержащаяся в любом историческом источнике.[1] Поясним на двух примерах, что имеется в виду под скрытой информацией.

В летописях, относящихся к Киевскому периоду русской истории, неоднократно описываются случаи разорения христианских храмов и монастырей враждующими друг с другом князьями и их воинами. Что это — грабеж победителей? Такое суждение поверхностно. В этих свидетельствах содержится иная, куда более важная информация: князья и их воины, придерживавшиеся языческих верований, разрушали храмы врага, чтобы лишить его защиты богов и в конечном счете полностью сокрушить. Здесь перед нами парадоксальная ситуация: древнерусские люди, будучи внешне христианами, вели себя как закоренелые язычники. Понять ее оказалось возможным лишь при тщательном сравнительно-историческом анализе, раскрывающем скрытую информацию, содержащуюся в источнике.

Древнерусские летописи нередко рисуют картины грабежей имущества умерших князей, осуществляемых народом. Некоторые историки толкуют их как проявление протеста против имущих. Между тем эти известия содержат и другую информацию, хотя и скрытую от поверхностного взгляда. Как показывает сравнительно-исторический анализ, эти грабежи отражают не только социальный протест, но и архаическую практику перераспределения богатств, основанную на принципе коллективизма, поскольку на имущество князей древние люди смотрели как на общественное достояние, которое должно вернуться в общество после их смерти.[2]

Любой исторический источник заключает в себе явную и скрытую информацию.[3] Так, например, в материалах о крестьянских волнениях XIX в. в России содержится явная информация о масштабе крестьянского движения. Но в этих же данных имеется и скрытая, ненамеренно попавшая в источник информация о степени сознательности крестьянства, его идеологии, причинах волнений,

помещичьей эксплуатации и о многом другом. Данные об урожаях несли в явной форме информацию о количестве собранного зерна, а в скрытой форме — информацию об отсталости сельского хозяйства страны, о невежестве и задавленности российского крестьянства, его расслоении, влиянии крепостного права на прогресс в русской деревне, роли общины в жизни крестьянства и т. п. Сведения о ценах заключали в себе в явной форме информацию о динамике и уровне товарных цен, а в скрытой форме — информацию о развитии рынка, об эксплуатации крестьян скупщиком, о доходах купечества, об урожаях, экспорте хлеба, о влиянии мирового рынка на экономику России, жизненном уровне населения и т. п.

Для тех, кто в прошлом собирал данные, информация, которую мы называем явной, составляла главную цель; она фиксировалась в источнике сознательно, была для всех очевидной и поэтому использовалась. Скрытая же информация оказывалась в данных ненамеренно, в результате *стихийного отражения* в источнике объективно существующих явлений, процессов и взаимосвязей между ними; она не являлась очевидной для людей, ее собиравших, и поэтому не использовалась. Отсюда явную информацию называют выраженной, воспринимаемой, а скрытую информацию — связанной, или структурной. Особенности скрытой информации состоят в том, что она, во-первых, характеризует *взаимосвязи*, присущие событиям, явлениям или процессам, во-вторых, характеризует взаимосвязи не прямо, а *опосредственно* — через выраженные в явной информации черты и свойства этих событий, явлений или процессов. Поскольку взаимосвязи, как правило, сложны, многообразны, не лежат на поверхности, носят скрытый характер, отражаются через явные черты и свойства объектов, их выявление требует значительных усилий, применения особых, порой изощренных методических приемов.

В исторических источниках содержится в сущности безграничный объем скрытой информации, которая к тому же вследствие непреднамеренного, стихийного происхождения нередко обладает большей достоверностью, чем информация явная, намеренно попавшая в источник.[4]

Как же извлечь скрытую информацию из исторических источников, какие трудности подстерегают здесь исследователя?

Для извлечения скрытой информации из массовых документальных источников социологи давно, а историки недавно стали использовать *контент-анализ*, который позволяет объективно, систематически и количественно описывать содержание любых массовых источников, будь то тексты речей, записи бесед, официальные документы, фольклор, газетные и журнальные статьи, листовки, дневники, письма, изобразительный материал и т. д. Особенная ценность контент-анализа состоит в том, что он создает возможность перевода в количественные показатели массовой текстовой информации. Например, успешно выражаются в количественных показателях содержание пословиц, сказок, загадок, протоколов государственных учреждений, анкет, трактатов, изобразительного материала, газет и журналов, автобиографий, устный и письменный словарь отдельных людей или социальных групп и т. д.

Чем отличается традиционный исторический анализ документов от контент-анализа? Исторический анализ документов обычно преследует три цели: установление подлинности текста и его автора; установление достоверности фактов, изложенных в документе; обоснованная интерпретация текста. В традиционном историческом анализе документов очень многое зависит от личности исследователя, его интуиции, таланта, эрудиции и пр. Поэтому он в значительной мере субъективен. Новизна контент-анализа состоит в том, что анализ источника осуществляется с помощью стандартизованных процедур, которые предполагают измерение. В результате существенно уменьшается субъективизм в толковании содержания текста.

Контент-анализ включает качественный и количественный анализы текста и проходит три стадии. Расчленение текста на отдельные смысловые единицы, определение их значения и взаимосвязей, а также все то, что входит в исторический анализ документов, образуют первый, качественный, этап анализа текста. Подсчет частоты употребления смысловых единиц или объема (пространства), который они занимают в тексте, составляет второй, количественный, этап анализа. Наконец, интерпретация полученных результатов составляет третий, и опять качественный, этап анализа текста. Таким образом, контент-анализ не упраздняет исторический анализ документов,

он просто дополняет его количественным анализом. Именно это и делает анализ более объективным, систематичным, точным и, следовательно, более научным, хотя, разумеется, ни один метод не может полностью избавить исследование от субъективности его автора. Рассмотрим несколько конкретных примеров.

В текстах, исследуемых с помощью контент-анализа, смысловыми единицами могут быть отдельные слова или понятия политического содержания (демократия, самодержавие, конституция), правового (преступность, собственность, кодекс, закон), научного (диалектика, метафизика, философия) и т. д. Анализ текста по содержанию понятий несет много важной информации, нередко выявляя скрытое содержание текста, его подтекст. Например, во время второй мировой войны американский исследователь Г. Лассуэл проводил со своими сотрудниками так называемый «символический анализ» мировой прессы, фиксируя частоту использования таких слов-символов, как «Англия», «Россия», «демократия», «фашизм» и т. д., а также благоприятное, неблагоприятное или нейтральное к ним отношение. Контент-анализ текстов американской газеты «Истинный американец» неопровержимо доказал, что газета является профашистской. Это послужило основанием для ее запрещения.[5]

Интересные результаты дает контент-анализ текстов, в которых смысловой единицей выступают имена исторических деятелей, политиков, выдающихся лиц, а также персонажи или герои (табл. 4).

Таблица 4

Распределение рекламных биографий «видных американцев» в двух массовых американских журналах по роду их деятельности [a]

Область деятельности рекламируемых персонажей	Число публикаций			
	за 1901—1914 гг.	за 1922—1930 гг.	за 1931—1934 гг.	за 1940—1941 гг.
Политика	81 (46%)	111 (28%)	95 (31%)	31 (25%)
Бизнес	50 (28%)	71 (18%)	43 (14%)	25 (20%)
Литература и искусство	46 (26%)	213 (54%)	168 (55%)	69 (55%)
Итого	177 (100%)	395 (100%)	306 (100%)	125 (100%)

[a] Подсчитано Л. Лоуэнталем. См.: *Ядов В. А.* Социологическое исследование. М., 1972, с. 127.

Подсчет показал, что к началу 1940-х гг. писатели и артисты заняли ведущее положение на рынке американской рекламы. Это свидетельствует об изменении престижности профессий, о тяге «среднего» американца к развлекательным темам за счет серьезных и о сознательной обработке буржуазной прессой его сознания. Данный вывод подтверждается и тем, что среди рекламируемых писателей и артистов доля представителей серьезного искусства снизилась с 77 до 9%, а доля «звезд», фабрикуемых прессой, увеличилась с 23 до 91%.

Единицей анализа в контент-анализе текста может быть тема, выраженная в целых смысловых абзацах, частях текста, статьях. С помощью контент-анализа В. А. Кузьмичев сравнил содержание ведущих советских и американских еженедельных газет 1920-х гг. и выяснил резкое различие между содержанием советской и американской прессы. В советских газетах на первом месте оказались темы экономики и политики, а в американских — беллетристика, моды, кулинария, спорт и прочий развлекательный материал и персоналии.[6]

Смысловой единицеи в контент-анализе могут быть также суждение или законченная мысль, официальный документ или художественное произведение, общественное событие или случай. Частота и длительность (во времени) упоминания того или иного события или правительственного решения, частота обсуждения той или иной проблемы в прессе — показатель их социальной значимости, внимания к ним общественности. Интересным примером такого рода анализа является исследование А. А. Сезько содержания 5850 коммунистических листовок периода гражданской войны.[7]

На основе качественного анализа содержания листовок сначала были выделены три большие группы листовок, освещавшие вопросы государственного, экономического и культурного строительства (1-я группа), организации защиты Советской власти (2-я), партийного, профсоюзного и комсомольского строительства (3-я). Затем в каждой из трех групп листовок были определены основные социальные темы или проблемы, которые в них поднимались. Таких тем оказалось в первой группе листовок — 18, во второй — 17, в третьей — 11.

Затем содержание всех 5850 листовок переводилось в количественные показатели. Так, например, получилось,

что в листовках первой группы основные проблемы государственного, экономического и культурного строительства освещались с такой интенсивностью:

Установление и упрочение Советской власти	— 618 раз
Решение национального вопроса	— 61 »
Борьба с голодом и разрухой	—1300 »
Культурное строительство	— 699 »

После кропотливой и чрезвычайно трудоемкой работы была получена ясная картина того, как часто обсуждались те или иные проблемы или какое место они занимали в листовках. Частоту обсуждения проблемы в данном случае можно рассматривать как показатель ее актуальности и значения в деятельности государственных и общественных организаций.

Однако контент-анализ листовок позволил также выяснить: 1) какие государственные и общественные организации и с какой интенсивностью занимались теми или иными проблемами; 2) как в течение гражданской войны, с 1917 по 1920 г., менялась актуальность различных проблем. Для этого потребовалось установить, сколько раз в 1917, 1918, 1919 и 1920 гг. каждая из 39 государственных и общественных организаций (они же были издателями листовок) поднимала в своих листовках ту или иную проблему. Успешному решению такой задачи способствовало применение ЭВМ, которая сгруппировала исходные данные — обсуждаемые проблемы — по годам и издателям и выдала результаты в виде 22 таблиц. Благодаря этому основное содержание 5850 листовок оказалось представленным с помощью чисел в 22 таблицах, которые поместились на 37 машинописных страницах! Наглядно и экономно! Вместо обзора или пересказа содержания листовок — типичный прием историков, пользующихся традиционной методикой, — контент-анализ дает в обобщенном виде содержание всех листовок, причем в виде таблиц, которыми очень удобно пользоваться. В этом состоит важнейшее преимущество контент-анализа.

Контент-анализ позволяет выявить и более тонко интерпретировать то, что скрыто присутствует в тексте источников. Эта скрытость информации для исследователя в некоторых случаях обусловливается тем, что авторы текстов умышленно вуалируют истинные свои цели, наме-

рения, идеи, убеждения. Так было с уже упоминавшейся выше газетой «Истинный американец», где политическая ориентация газеты столь искусно скрывалась, что потребовался специальный научный анализ, чтобы показать истинное кредо газеты. История русской подцензурной печати дает множество примеров, когда редакции прогрессивных газет и журналов вынуждены были прятать свое направление за эзоповским языком публикуемых материалов. Вспомним «Современник» В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова в 1840—1860-е гг. или «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1860—1880-е гг.

В других случаях информация оказывается скрытой из-за того, что документальные материалы обильны и несистематизированы. Так было в приведенном примере с 5850 листовками эпохи гражданской войны, содержание которых невозможно охватить без суммарных количественных оценок. Наконец, содержание некоторых текстов оказывается неясным, непонятным, скрытым в силу противоречивости позиции авторов или их идейных колебаний. И здесь только контент-анализ выявит и степень противоречивости, и меру неустойчивости идейных позиций авторов.

Контент-анализ имеет до 16 различных применений, помогая ответить на 16 разных исследовательских вопросов. Но все эти вопросы направлены на то, чтобы выяснить, кто говорит, что говорит, кому говорит, как говорит автор и с каким результатом. Так, анализируя речи политических лидеров Германии и США в годы второй мировой войны, обнаружили, что у первых тема силы составляет 35%, у вторых — только 15%. Отсюда ясно политическое лицо тех и других. Это к вопросу о том, кто говорит. Анализ тем популярных драм, которые ставились в США и Германии с 1910 по 1927 г., позволил выяснить общественные идеалы того времени. Это к вопросу о том, что говорит автор текста. Исследование эволюции интересов американской публики за период 1900—1930 гг. по содержанию популярных журналов исходит из того, что контент-анализ сообщений, адресованных определенной аудитории, позволяет изучить эту аудиторию с точки зрения ее интересов, ценностей и пр. Это к вопросу о том, кому говорит автор текста.[8]

Возможности контент-анализа, направленного на то,

ка́к говорит автор, убедительно показывает следующий пример. На материалах газеты «Известия» за 45 лет, с 1919 по 1964 г., было установлено, что случаи обращения к личным склонностям и интересам читателя составляли в 1919 г. 1/19 часть относительно других типов апелляции, в 1944 г. — 2/7, а в 1954—1964 гг. находились на уровне 1/4.[9]

Наконец, чтобы ответить на вопрос, какой эффект оказывает сообщение на того, кто его принимает, исследуются письма читателей, если речь идет о статье или книге, изучается критика, чтобы оценить воздействие спектакля или музыкального произведения на публику, и т. д. Американский исследователь Х. Кэнтрил, например, исследовал панику в США, вызванную радиопередачей о вторжении марсиан в Нью-Йорк (по произведению Г. Уэллса), с помощью контент-анализа. Во всех перечисленных случаях контент-анализ выявил скрытую информацию в текстах, благодаря чему в научный оборот поступили новые интересные факты.

Большие возможности в повышении информационной отдачи источника скрыты в *дедуктивно-логическом способе* извлечения скрытой информации. Имеются остроумнейшие примеры его применения историками: даты вскрытия и замерзания рек, сбора винограда используются для изучения истории климата, приходо-расходные книги монархов и их приближенных — для характеристики их образа жизни и политических маневров (так как позволяют выяснить, кому или зачем предназначались деньги и в каком количестве), особенности языка — для выявления образа мыслей и т. п. Рассмотрим подробнее один пример.

В нашем распоряжении данные о количестве выходных и праздничных дней, которыми располагало русское крестьянство в XIX в, — 52 воскресенья и 88 дней религиозных и гражданских праздников в году. О чем говорят эти данные? Если строго следовать букве, то о том, сколько дней в году крестьяне не работали. Если же обратиться к дедуктивной логике, возможно извлечь и другую информацию.

Количество праздничных дней в году можно рассматривать в качестве показателя отношения крестьянства к труду, потому что рабочее время и праздники находятся в обратно пропорциональной зависимости. По расчетам

современников, любовь крестьянства к праздникам обходилась народному хозяйству довольно дорого. Примерный подсчет потерь на праздники в сравнении с США дал существенный результат. В конце XIX в. в США отмечалось 72 праздничных дня, в том числе 52 воскресенья, остальные 20 приходились на религиозные и гражданские праздники. Если отнять воскресенья, то русские крестьяне имели праздников в 4.4 раза больше, чем американские фермеры. Общий же излишек праздников сравнительно с американскими составил 68 дней. Если принять количество русского трудоспособного населения в 55 млн. человек и оценить рабочий день в среднем в 50 коп., то получается, что русская деревня на праздники теряла ежегодно 3.74 млрд. человеко-дней или терпела ежегодный убыток почти в 2 млрд. руб. — цифра по тем временам громадная.[10]

Между тем с точки зрения русского законодательства XIX—начала XX в. в праздники не запрещалось выполнять добровольно какие бы то ни было работы. Церковь тоже не препятствовала добровольной работе в праздничные дни. Народный обычай шел в данном случае не вразрез с требованиями закона и церкви, а просто возможность не работать в праздники превратил как бы в обязанность не работать. В этом-то как раз и проявлялось традиционное, патриархальное отношение к труду, когда труд рассматривался преимущественно как источник необходимого пропитания, а не источник богатства, прибыли и власти. Обилие праздников в крепостную эпоху находит объяснение в стремлении крестьянства уменьшить помещичью и государственную эксплуатацию. Сохранение числа праздников в пореформенную эпоху свидетельствовало о живучести пережитков потребительского отношения к труду.

Дедуктивная логика позволила нам из данных о количестве нерабочих дней извлечь скрытую информацию о потребительском отношении крестьянства к труду. Правда, были сделаны некоторые статистические выкладки о потерях в связи с праздниками, проведено сравнение количества праздников в США и России. Однако все это имело второстепенный характер по сравнению с дискурсивными рассуждениями: много праздников, мало рабочих дней; если хотя бы часть праздничных дней крестьяне трудились, то получили бы дополнительный доход; законо-

дательство и церковь не запрещали трудиться в праздничные дни, значит, обязанность не работать порождалась потребительским, патриархальным отношением крестьян к труду.

Математические методы открывают новые горизонты в извлечении скрытой информации. Историки, хотя пока и отстают от социологов в этом отношении, в последние годы достигли больших успехов.[11] Как показывает опыт советских клиометриков, применение математических методов эффективно при решении как традиционных, так и новых проблем в историографии. Рассмотрим возможности и трудности, возникающие при извлечении скрытой информации с помощью математических методов, на примере исследования развития грамотности женщин в России XIX в.

ИСТОЧНИК ДОЛЖЕН ЗАГОВОРИТЬ. ГРАМОТНОСТЬ В РОССИИ В 1797—1897 гг.

В настоящий момент историческая наука располагает спорадическими, непредставительными, непроверенными и сомнительными по достоверности данными о грамотности населения России вплоть до 1897 г. — года первой всеобщей переписи населения. Первая всеобщая перепись населения дала в руки исследователей сведения о грамотности городского и сельского населения отдельно для мужчин и женщин, по возрастным группам от 4 до 110 лет (при проведении переписи грамотными считались все, кто умел хотя бы читать). Эти данные используются для характеристики достигнутого в стране уровня грамотности на 1897 г. Между тем в этих сведениях содержится *в скрытом виде* информация об уровне и динамике грамотности за 100 предшествовавших лет. На основе данных переписи 1897 г. построена табл. 5.

В табл. 5 в графе за 1897 г. приведены данные из переписи. Графы за последующие годы заполнены на основе графы за 1897 г. исходя из трех предположений: 1) вымирание грамотных и неграмотных происходит в равной степени, другими словами, смертность грамотных и неграмотных одинакова; 2) грамотность приобретается, как правило, до 20 лет; 3) некоторое увеличение численности грамотных после 20-летнего возраста компенсируется утратой грамотности теми, кто приобрел ее до 20 лет.

Таблица 5

Грамотность женщин по возрастным группам в Европейской России в 1797—1897 гг. (в %)[a]

Возраст	1897	1887	1877	1867	1857	1847	1837	1827	1817	1807	1797
10—19	22.7	20.3	16.1	13.1	11.6	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4
20—29	20.3	16.1	13.1	11.6	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4	
30—39	16.1	13.1	11.6	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4		
40—49	13.1	11.6	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4			
50—59	11.6	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4				
60—69	10.9	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4					
70—79	10.3	8.6	6.0	4.7	5.4						
80—89	8.6	6.0	4.7	5.4							
90—99	6.0	4.7	5.4								
100—109	4.7	5.4									
110+	5.4										

[a] Подсчитано по: Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб., 1905, I, с. 60—62.

Например, графа за 1887 г. заполнялась следующим образом: 10—19-летняя возрастная группа в 1887 г. имела тот же уровень грамотности, что 20—29-летняя в 1897 г.; 20—29-летняя возрастная группа в 1887 г. имела тот же уровень грамотности, что 30—39-летняя в 1897 г., и т. д. до 100—109-летней возрастной группы. Графа за 1877 г. заполнялась аналогичным способом: 10—19-летняя возрастная группа имела тот же уровень грамотности, что и 20—29-летняя возрастная группа в 1887 г. или 30—39-летняя возрастная группа в 1897 г.; 20—29-летняя возрастная группа в 1877 г. имела тот же уровень грамотности, что и 30—39-летняя возрастная группа в 1887 г. или 40—49-летняя возрастная группа в 1897 г. и т. д. до 90—99-летней возрастной группы. Пользуясь подобной методикой — назовем ее *методикой ретросказания*, — заполним таблицу до 1797 г. Постепенно у нас образуется недостаток данных: за 1887 г. о грамотности возрастной группы 110 и более лет; за 1877 г. о грамотности той же, а также 100—109-летней возрастной группы; за 1867 г. о грамотности двух предыдущих и 90—99-летней возрастных группах и т. д.

Чтобы можно было полагаться на данные табл. 5, необходимо доказать достоверность трех вышеуказанных предположений и найти способ заполнения образовавшихся пробелов.

Связь между смертностью и грамотностью. Нет достаточно убедительных эмпирических данных и теоретических соображений, которые бы свидетельствовали о том, что грамотность людей сама по себе влияет — в положительном или отрицательном смысле — на их смертность. Однако, как правило, жизнь грамотных, во всяком случае в России XVIII—начала XX в., проходила в более благоприятных условиях, которые способствовали понижению среди них смертности. Например, грамотные сравнительно с неграмотными имели более высокий социальный статус и жизненный уровень, пользовались лучшим из возможного медицинским обслуживанием. А эти условия, как показывает отечественная и зарубежная санитарная статистика, оказывали влияние на смертность, которая в различных социальных группах населения понижалась вместе с ростом материального достатка и, наоборот, повышалась по мере его понижения. Вследствие зависимости между материальным положением и смертностью, с одной стороны, и материальным положением и грамотностью населения — с другой, между смертностью и грамотностью населения также существовала связь. Имеющиеся данные о влиянии грамотности на смертность приводят к следующим выводам: смертность в среде грамотных до 60-летнего возраста в России конца XIX в. была немногим ниже, чем у неграмотных, а с 60-летнего возраста практически одинаковой.[12] Этот вывод можно распространить на более раннее время, поскольку различия в качестве жизни грамотных и неграмотных на рубеже XIX—XX вв. достигли в России своего апогея.

Возраст и грамотность. Согласно данным переписи населения 1897 г., доля грамотных неуклонно возрастала с 4-летней и достигала максимума в 14-летней возрастной группе. Затем проходило уменьшение доли грамотных. И у мужчин, и у женщин возраст максимальной грамотности 14 лет. О том же свидетельствуют и сведения о возрасте учащихся в школах. В 1880 г. среди учащихся начальных школ 50 губерний Европейской России на долю 16-летних и более высокого возраста приходилось всего 2.4%, в 1911 г. — менее 1.34%.[13] Правда, школа как источник грамотности стала доминировать только с начала XX в. В течение же всего XIX в. и в более раннее время больше половины людей приобретали грамотность вне школы, самоучкой, у духовных лиц, в армии, при

домашнем обучении и т. д. Однако и внешкольные пути получения грамоты, исключая военную службу, использовала, как правило, молодежь до 16-летнего возраста. По свидетельству современников, крестьяне (а в сельской местности Европейской России в 1897 г. проживало 86.9% населения) очень редко учились грамоте после 14 лет.[14]

Утрата грамотности. Бесспорно, какая-то часть населения приобретала грамотность после 14 лет самоучкой, в школах для взрослых и путем внешкольного образования. С другой стороны, бесспорен и факт утраты навыков чтения и письма прежде грамотными людьми вследствие того, что навыки в течение длительного времени не подкреплялись, — явление, получившее название рецидива безграмотности. В ходе специальных исследований в 1880—1890-е гг. было выяснено, что уже через 3—4 года после окончания начальной школы полученные знания и навыки в значительной части утрачивались. Например, Н. А. Корф установил, что 8.3% разучились читать или читали машинально, не понимая прочитанного, 7.1% не могли подписаться, 15.2% забыли два первых действия арифметики и т. д.[15]

Таким образом, одновременно происходили три процесса: небольшое увеличение относительной численности грамотных вследствие несколько меньшей (по сравнению с неграмотными) их смертности; 2) приобретение грамотности незначительным числом взрослых; 3) наконец, довольно существенный рецидив безграмотности. В каком соотношении находились эти процессы и каков был результат их взаимодействия? Ответ на этот вопрос мы можем получить сравнением данных о грамотности одних и тех же возрастных групп через значительный интервал времени, что возможно сделать на основе переписей 1897, 1920 и 1926 гг. Они показывают, что с точки зрения грамотности жизнь каждого поколения женщин разделялась на три периода: рост (5—15 лет), стабильность (16—40 лет) и упадок (41 и более лет). В период роста грамотность быстро возрастала, достигая апогея к 15 годам. В период стабильности утрата грамотности одними компенсировалась приобретением ее другими и повышенной смертностью неграмотных. В период упадка вследствие ускоряющихся темпов утраты грамотности рецидив безграмотности перевешивал компенсирующие явления.

Определим теперь среднегодовые темпы утраты грамотности отдельными возрастными группами по десятилетиям, основываясь на данных переписей 1897, 1920 и 1926 гг. (табл. 6).

Таблица 6

Среднегодовые темпы утраты грамотности женским населением (в %)

Возраст	Женское население	
	в целом	сельское
От 30—39 до 40—49	0.27	0.5
От 40—49 до 50—59	0.27	0.56
От 50—59 до 60—69	0.36	0.7
От 60—69 до 70—79	0.75	0.8
От 70—79 до 80—89	2.5	0.86
От 80—89 до 90—99	2.5	1.8
От 90—99 до 100—110	3.7	1.8—2.2
От 100—110 до 110+	5.0	3.8

Экстраполяция отсутствующих данных. Учет рецидива безграмотности оставляет открытым вопрос о пробелах в таблице возрастной грамотности (см. табл. 5), потому что первичные сведения о возрастной грамотности по переписи 1897 г. ограничивались 110 годами. Этих пробелов тем больше, чем дальше мы уходим от даты переписи. Для прогноза грамотности на более отдаленные от переписи годы возможно экстраполировать недостающие данные на основе регрессионного метода следующим образом.

Распределим грамотных (в %) по возрастным группам за 1897 г.:

10—19	лет	22.7
20—29	»	20.3
30—39	»	16.1
40—49	»	13.1
50—59	»	11.6
60—69	»	10.9
70—79	»	10.3
80—89	»	8.6
90—99	»	5.9
100—109	»	4.7
110+	»	5.4

Этому распределению соответствует (без учета рецидива безграмотности) распределение грамотности 10—19-летней когорты за 1797—1897 гг. (см. табл. 5), то есть статистический ряд превращается в ряд динамический. Если же закономерность, скрытую в динамическом ряду, выразить уравнением регрессии, то по этому уравнению можно экстраполировать недостающие данные.

Наилучшим образом связь между временем и грамотностью 10—19-летней когорты выразили уравнения прямых. Для женского городского населения: $y = 554.15055 + 0.31833\,x$; для женского сельского населения: $y = -146.58964 + 0.08527\,x$, где x — год, y — % грамотности.[16]

По результатам экстраполяции грамотность 10—19-летней когорты женщин в 1757—1787 гг. составила (в %):

	1757 г.	1767 г.	1777 г.	1787 г.
Городское население	5.1	8.3	11.5	14.7
Сельское население	3.1	4.1	5.1	6.2

Основываясь на экстраполированных данных о грамотности 10—19-летней когорты и среднегодовых темпах утраты грамотности от 10—19 до 110 и более лет, можно заполнить значительную часть пробелов в исходных данных.

Динамика грамотности женского населения в Европейской России в 1797—1897 гг. Заполнив таблицы возрастной грамотности (табл. 7 и 8), получим полную картину динамики грамотности женского населения за 1797—1897 гг. Из таблиц видно, что за 100 лет грамотность женского городского населения возросла с 12 до 45.6%, в 3.8 раза, а грамотность женского сельского населения — с 5.2 до 13.4%, в 2.6 раза.

Как можно оценить достоверность полученных результатов?

Достоверность составленных таблиц грамотности на 1797—1887 гг. зависит от достоверности исходного материала и методики его обработки. Данные всеобщей переписи населения 1897 г., так же как и переписей 1920 и 1926 гг., являются наиболее полными и достоверными для своего времени. Методика ретросказания, не учитывающая рецидив безграмотности (см. табл. 5), по мере

удаления от даты исходных данных занижает средний уровень грамотности. Методика, учитывающая утрату грамотности (см. табл. 7 и 8), напротив, имеет тенденцию

Таблица 7

Грамотность женского городского населения в Европейской России в 1797—1897 гг. (в %)

Возраст	1897	1887	1877	1867	1857	1847	1837	1827	1817	1807	1797
10—19	59.7	51.7	42.7	36.3	32.9	32.3	31.7	31.1	26.9	18.7	17.0
20—29	51.7	42.7	36.3	32.9	32.3	31.7	31.1	26.9	18.7	17.0	14.7
30—39	42.7	36.3	32.9	32.3	31.7	31.1	26.9	18.7	17.0	14.7	11.5
40—49	35.4	32.1	31.4	30.9	30.3	26.2	18.2	16.5	14.3	11.2	8.1
50—59	31.3	30.6	30.1	29.5	25.5	17.7	16.1	13.9	10.9	7.9	4.9
60—69	28.3	29.0	28.5	24.6	17.1	15.5	13.4	10.5	7.6	4.7	—
70—79	26.9	26.4	22.8	15.9	14.4	12.4	9.7	7.1	4.4	—	—
80—89	21.9	17.8	12.4	11.2	9.7	7.6	5.5	3.4	—	—	—
90—99	13.6	9.7	8.7	7.6	5.9	4.3	2.7	—	—	—	—
100—109	8.8	6.0	5.3	4.1	3.0	1.9	—	—	—	—	—
110+	3.7	3.3	2.5	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—
В среднем	45.6	39.8	35.0	31.9	29.8	27.9	25.4	22.1	18.0	14.2	12.0

Таблица 8

Грамотность женского сельского населения в Европейской России в 1797—1897 гг. (в %)

Возраст	1897	1887	1877	1867	1857	1847	1837	1827	1817	1807	1797
10—19	17.9	15.2	11.8	10.7	10.5	10.3	9.6	9.5	9.4	8.5	6.6
20—29	15.2	11.8	10.7	10.5	10.3	9.6	9.5	9.4	8.5	6.6	6.2.
30—39	11.8	10.7	10.5	10.3	9.6	9.5	9.4	8.5	6.6	6.2	5.1
40—49	9.7	9.3	9.3	9.1	9.0	8.9	8.1	6.3	5.9	4.9	3.9
50—59	8.7	8.8	8.6	8.5	8.4	7.7	6.0	5.6	4.6	3.7	2.7
60—69	8.2	8.0	7.9	7.8	7.1	5.6	5.2	4.3	3.5	2.5	—
70—79	7.7	7.3	7.2	6.6	5.2	4.8	4.0	3.2	2.3	—	—
80—89	6.7	6.6	6.1	4.8	4.4	3.7	2.9	2.1	—	—	—
90—99	4.9	4.9	4.0	3.7	3.1	2.4	1.8	—	—	—	—
100—109	4.1	3.2	3.0	2.5	1.9	1.4	—	—	—	—	—
110+	2.2	2.1	1.7	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—
В среднем	13.4	11.7	10.3	9.8	9.5	9.1	8.5	8.0	7.2	6.2	5.2

несколько завышать ее средний уровень, так как темпы утраты грамотности в конце XIX—начале XX в., принятые нами из-за отсутствия других данных за эталон, были выше, чем в более раннее время. Этот парадокс объясняется тем, что при низком уровне грамотности в стране грамоту осваивали преимущественно те, кто ее постоянно

использовал в последующей практической жизни. А если грамотность функциональна, она не утрачивается.

Оставаясь предельно корректным, следует сказать, что действительная грамотность женщин находилась в интервале между тем максимальным уровнем грамотности, который дает методика, учитывающая утрату грамотности, и тем минимальным уровнем грамотности, который дает методика, не учитывающая утрату грамотности (табл. 9).

Таблица 9

Изменения различий между минимальным и максимальным уровнями грамотности женского населения Европейской России в 1797—1887 гг.

	1797 г.	1807 г.	1817 г.	1827 г.	1837 г.	1847 г.	1857 г.	1867 г.	1877 г.	1887 г.
Грамотность женского городского населения, %										
Макс.	12.0	14.2	18.0	22.1	25.4	27.9	29.8	31.9	35.0	39.8
Мин.	5.1	6.2	8.3	12.3	16.8	20.8	24.5	28.4	33.1	39.0
Грамотность женского сельского населения, %										
Макс.	5.2	6.2	7.2	8.0	8.5	9.1	9.5	9.8	10.3	11.7
Мин.	2.1	2.7	3.4	4.5	5.5	6.5	7.3	8.2	9.4	11.3

Как видим, с 1887 г. до 1837 г. расхождения между разными оценками уровня грамотности невелики и лишь в последующем существенно возрастают. Это вполне естественно: вероятность прогноза с увеличением глубины предсказания понижается, соответственно интервал между крайними оценками возрастает. Несмотря на это, полученные результаты ретросказания грамотности женского населения России следует признать удовлетворительными.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы остановились лишь на некоторых методах извлечения скрытой информации. Историки и социологи в настоящее время используют также автоматическую классификацию и типологию, факторный анализ, линейное программирование, теорию игр, моделирование [17] и другие методы.

Какие же выводы можно сделать о методике извлечения скрытой информации из исторических источников?

Скрытая информация извлекается из данных *путем интерпретации* явной информации в ходе мысленного

эксперимента. Может показаться, что процедура по извлечению скрытой информации мало отличается от обычного анализа прямых данных, заключенных в источниках. В действительности различия существенны. При анализе прямых данных мы изучаем только то явление, которое характеризуют эти данные, то есть явная информация. При извлечении же скрытой информации наш интерес сосредоточен на том явлении, которое характеризует скрытая информация; прямые данные или явная информация служат лишь *средством извлечения* скрытой информации. Можно сказать, что извлечение скрытой информации — задача в сущности источниковедческая, в то время как анализ явной информации — задача чисто аналитическая. В первом случае явная информация — средство, во втором случае — цель исследования. Как видим, подход к данным, к источнику совсем иной, вследствие этого функция данных и исследовательской процедуры, так же как и ее результат, различны.

Скрытая информация характеризует те явления, о которых прямых данных недостаточно или нет. Она является преимущественно не описательной, а объяснительной, поскольку часто говорит о причинах и взаимосвязях явлений; в источниках ее содержится значительно больше, чем прямой информации. Однако выявление скрытой информации требует дополнительных данных, нередко сложной методики. Она имеет преимущественно вероятностный, гипотетический характер, поскольку с «непосредственно наблюдаемым» фактом в исторических источниках связана через логические умозаключения и теоретические рассуждения, в то время как явная информация благодаря своей непосредственной связи с «наблюдаемыми» фактами имеет как бы безусловный характер.

Степень вероятности извлеченной скрытой информации обратно пропорциональна степени сложности интерпретации, роли логического рассуждения и теории в ее получении и прямо пропорциональна количеству и качеству первичной явной информации. Чем больше данных, чем меньше значение дискурсивного мышления, тем вероятность новой, прежде скрытой, информации выше, и наоборот. Вероятностный характер извлеченной скрытой информации, разумеется, не снижает ее ценности. Просто от исследователя требуется дополнительная проверка ее достоверности на других данных. Неоднократное повторе-

ние результата повышает вероятность и, следовательно, достоверность скрытой информации.

Нельзя не отметить, что извлечение скрытой информации требует определенной перестройки привычного хода исторического исследования. Обычно оно начинается со сбора данных, при этом стремятся собрать все сохранившиеся сведения. Собранный материал часто диктует исследователю проблематику, ход анализа. В результате историческое исследование находится в большой зависимости от источников — такова цена предпочтения, отдаваемого историками явной информации. При использовании же скрытой информации отношение к источнику становится более активным, экспериментаторским. Благодаря этому чрезвычайно увеличивается источниковая база исторических исследований, что в свою очередь способствует расширению тематики, ибо историку становятся подвластны для анализа многие из прежде недоступных изучению проблем прошлого и в особенности те, которые составляют предмет новых исторических дисциплин — исторической психологии и исторической социологии.

Однако социология даже в плане источниковедческом может оказать помощь историку не только в том узком смысле, что вооружает его некоторыми приемами извлечения скрытой информации из документальных материалов. Пожалуй, более существенно, что само извлечение скрытой информации редко может обойтись без общей и в особенности без специальных социологических теорий.

Недавно в источниковедение введено новое важное понятие «*внеисточниковое знание*». Под ним разумеется то «знание, которое имеет и использует исследователь, изучая на основе источников прошлую действительность».Этим термином охватываются принятые историком суждения об исторических фактах, теоретические положения и сформулированная на их основе система ценностей, признаваемая им.[18] Внеисточниковое знание — эта та призма, через которую историк смотрит на исторические источники и информацию, в них заключенную; оно направляет его мышление при интерпретации источников, стимулирует выдвижение тех или иных исследовательских вопросов. Совершенствование внеисточникового знания — один из путей дальнейшего развития исторической науки, так как изменение традиционных вопросов, которые историки

ставят перед источниками, возможно лишь при принципиальном изменении структуры внеисточникового знания историка. Здесь, конечно, первое место принадлежит теоретическому знанию о структуре и развитии общества, то есть социологии, в особенности специальным социологическим теориям. Социология, хочет того историк или нет, составляет важнейший элемент его внеисточникового знания, без которого он не может обходиться в любом, самом конкретном исследовании, если стремится к получению значимых и надежных результатов.

Распространение практики извлечения скрытой информации из исторических источников имеет еще один положительный эффект. При использовании исключительно явной информации, заключенной в исторических источниках, мысль исследователя движется лишь в пределах «непосредственно наблюдаемых» в источнике данных. Обращение к скрытой информации создает реальную возможность для выхода за границы «непосредственно наблюдаемого» в исторических источниках, для умозаключения на основе логических процедур анализа, для дальнейшего развития дискурсивного исторического мышления, выводы которого становятся столь же значимыми, обязательными и имеющими тот же научный статус, как и выводы, сделанные на основе прямой, явной информации.

Расширение проблематики и источниковой базы исторических исследований — важное направление развития современной исторической науки. Поэтому очевидно, что повышение роли социологической теории, дискурсивного рассуждения, дедуктивной логики, математико-статистических методов при извлечении информации из исторических источников является существенным резервом дальнейшего совершенствования исторических исследований прежде всего в плане источниковом и тематическом, а также и в плане методическом и аналитическом.

[1] *Ковальченко И. Д.* Исторический источник в свете учения об информации. — История СССР, 1982, № 3, с. 145.

[2] *Фроянов И. Я.* Киевская Русь. Л., 1980, с. 144—145, 242.

[3] Здесь и далее под информацией понимается вся совокупность сведений, содержащихся в источнике.

[4] *Ковальченко И. Д.* Исторический источник..., с. 133, 137, 140; см. также: *Громыко М. М.* О «непосредственных» и «косвенных» исторических источниках. — Изв. Сибир. отд-ния АН СССР, 1968, № 6, вып. 2,

с. 84—90; *Кахк Ю. Ю.* Некоторые аспекты применения математических методов в исторических исследованиях. — В кн.: Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977, с. 165—187.

[5] *Ядов В. А.* Социологическое исследование. М., 1972, с. 120—126.

[6] *Кузьмичев В. А.* Печатная агитация и пропаганда. М.; Л., 1930, с. 37—38.

[7] *Сезько А. А.* Коммунистические листовки гражданской войны как исторический источник : Дис. ...канд. ист. наук. Л., 1974. 190 с. Машинопись.

[8] *Пэнто Р., Гравитц М.* Методы социальных наук. М., 1972, с. 333.

[9] *Баранов А. В.* Опыт текстового анализа газеты. — Информ. бюл. ИКСИ АН СССР, 1968, № 9, с. 80—88; см. также: *Архангельская И. Д.* К вопросу изучения периодической печати методами контент-анализа. — В кн.: Методы количественного анализа текстов нарративных источников. М., 1983, с. 110—126.

[10] *Петерсон Н. Л.* Просвещение / Сост. Н. Л. Петерсон. СПб., 1904, с. 12—14. (Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России).

[11] См., например, серию сборников, посвященных применению математических методов в исторических исследованиях: Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. 234 с.; Математические методы в исследованиях по социально-экономической истории. М., 1975. 320 с.; Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. 384 с.; Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М., 1981. 415 с.

[12] *Борисов Н.* К вопросу о влиянии занятия, экономического положения и грамотности сельского населения на некоторые стороны начального народного образования. Александрия, 1899, с. I—XVIII; *Скаткин Н. И.* К характеристике физического развития населения Рузского уезда Московской губернии : По данным Рузского уездного воинского присутствия (за 1874—1906 гг.). М., 1910, с. 20; *Соколов Н. Д.* К характеристике физического развития и грамотности населения Клинского уезда. М., 1903, с. 25, и др.

[13] *Дубровский А. В.* Сельские училища в Европейской России и привислинских губерниях. — Статистический временник Российской империи. СПб., 1884, сер. III, вып. 1, с. XLVI; Однодневная перепись начальных школ Российской империи, произведенная 18 января 1911 г. Пг., 1916, вып. 16, ч. I, с. 27.

[14] *Боголепов И. П.* Грамотность среди детей школьного возраста в Московском и Можайском уездах. М., 1894, с. 31—32; Народное образование в Вятской губернии за последние 10 лет (1864—1874 г.). Вятка, 1875, с. 201; *Сабанеев И. А.* Грамотность крестьянского населения. Кострома, 1902, с. 12; *Семенова-Тян-Шанская О. П.* Жизнь Ивана. СПб., 1914, с. 30; *Третьяков.* Взгляд крестьян на школу. — Устои, 1882, № 11, с. 78—80; *Тютрюмов И. М.* Народная школа на Севере : (Опыт разработки статистических данных по народному образованию). — Русская мысль, 1888, март, с. 26—27.

[15] *Корф Н. А.* Образовательный уровень взрослых грамотных крестьян. — Русская мысль, 1881, кн. 10, с. 30—31; кн. 12, с. 4—5.

[16] Подробнее об экстраполяции по уравнению регрессии см.: *Езекиэл Мордэкэй* и *Фокс Карл А.* Методы анализа корреляций и регрессий. М., 1966, с. 70—165; *Миронов Б. Н., Степанов З. В.* Историк и математика. М., 1975, с. 54—89.

[17] См., например, статьи И. Д. Ковальченко, Л. И. Бородкина, И. М. Промахиной, В. П. Пушкова, В. М. Селунской и других историков в кн.: Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М., 1981. 415 с.; *Бокарев Ю. П.* Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М., 1981. 309 с.; *Кахк Ю. Ю.* Об аграрной политике в прибалтийских губерниях в 1840-е годы : (Опыт квантитативного анализа аграрной политики). — В кн.: Studia historica in honorem Hans Kruus. Tallin, 1971, s. 315—346; *Ковальченко И. Д.* О моделировании исторических явлений и процессов. — Вопросы истории, 1978, № 8, с. 72—93.

[18] *Топольский Ежи.* О роли внеисточникового знания в историческом исследовании. — Вопросы истории, 1973, № 5, с. 77—78.

Глава V

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

> . . .Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления.
>
> *К. Маркс, Ф. Энгельс*

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ

В том, что в ходе истории изменяются право и мораль, политические учреждения и институты, научные представления и содержание общественного сознания, вряд ли кто теперь сомневается. Историки привели много данных, показывающих, как эти изменения происходили. Однако в сферу их внимания и научного анализа редко попадал другой вопрос: изменяется ли со временем, по мере социально-экономического прогресса общества сознание людей,[1] но не с точки зрения его содержания, а с точки зрения строения, характера высших психических процессов человека, таких как восприятие, память, активное внимание, воображение, отвлеченное, или абстрактное, мышление, волевое действие? Историки при изучении прошлого, как правило, молчаливо исходят из убеждения, что сознание, высшие психические процессы человека имеют внеисторический характер и не подвержены влиянию времени.

Изменяются ли строение и функционирование сознания человека? Этот вопрос для исторической науки непраздный, как может показаться с первого взгляда. От его правильного решения существенно зависит подход историков к событиям прошлого. Никто, пожалуй, не станет отрицать, что общественное поведение человека, будь то крестьянин или рабочий, чиновник или купец, император или ученый, во многом определяется тем, как он ощущает мир, мыслит, чувствует, воспринимает, воображает, анализирует. Если, к примеру, и в каменном веке, и в наше

время основные формы познавательных процессов являлись одинаковыми для всех людей, мы вправе думать, что древний человек воспринимал, чувствовал и думал, как мы. А если психика изменилась? Тогда исследователь, исходящий из убеждения, что психический склад людей не изменяется, совершает серьезный просчет: он невольно наделяет их мироощущением современного человека, а вслед за этим приписывает людям той или другой эпохи несвойственные им мотивы поступков и установки. В результате подлинные субъективные причины поступков наших предков не понимаются или искажаются, а сами поступки поэтому нередко приобретают в изложении историка иной смысл, чем это было в действительности. «Всеобщий источник нашего счастья в том, что мы верим, будто вещи действительно являются тем, чем мы их считаем», — остроумно заметил известный немецкий ученый и писатель XVIII в. Г. К. Лихтенберг.

В домарксистской психологии господствовало представление, согласно которому высшие психические процессы человека во все времена оставались одинаковыми. Однако современные психологи, антропологи и этнографы на конкретных фактах показали, что «строение сознания изменяется с историей и что как по мере развития ребенка, так и по мере перехода от одной общественно-исторической формации (или уклада) к другой меняется не только содержание сознания, но и его строение».[2] Особенно большая роль в разработке и доказательстве данного положения принадлежит советским психологам А. Н. Леонтьеву, Л. С. Выготскому, А. Р. Лурии, которые еще в 1930-е гг. впервые в науке сформулировали и экспериментально доказали исторический характер человеческой психики,[3] хотя идея об изменении психики высказывалась и раньше, начиная с Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Зарубежные ученые, прежде всего Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, С. Леви-Стросс, Б. Л. Уорф и др., на основе этнографических исследований пришли в принципе к аналогичным выводам об историческом характере сознания, хотя их построения в некоторых случаях вступают в противоречие с результатами, полученными советскими учеными, что обусловлено различиями в методологии поиска и, возможно, в объекте исследования.[4]

Коренная перестройка в психологической науке, произошедшая за последние десятилетия, дала толчок к дора-

ботке некоторых положений исторической науки, в особенности тех ее разделов, которые изучают общественное сознание, общественные движения. Наиболее ощутимый отклик на новые веяния в изучении психологии человека наблюдался во французской историографии. Новые идеи повлияли на историков и в других странах.[5] В частности, проблемы исторической психологии затронуты в ряде работ советских историков.[6] Настало время для более широких поисков в области исторической психологии. И это закономерно. Дальнейший недоучет исторического характера психологии человека не может не приводить к навязыванию людям прошлого мотивов, оснований и резонов поведения, которые свойственны современному человеку. Поясним эту мысль примером.

Древнерусская живопись применяла обратную перспективу. Историки и особенно искусствоведы нередко истолковывали отсутствие прямой перспективы как особый прием древних живописцев, специально используемый ими для выражения своих эмоций и идей. Тем самым они исходили из мысли, что древнерусские художники знали и видели мир в прямой перспективе. Однако в действительности древнерусские художники, точно так же как и западноевропейские средневековые живописцы, не знали прямой перспективы. Они не пользовались обратной перспективой как художественным приемом, а видели мир в этой перспективе. Специальные исследования показали, что «естественный» человек, так же как и ребенок, знает только обратную перспективу, что ви́дение мира в прямой перспективе — результат воспитания и обучения, а не свойство наших органов зрения.[7]

На картинах средневековых живописцев есть и другие «несообразности»: последовательные действия изображены так, будто они происходили одновременно, а мир земной и мир сверхчувственныи показаны с одинаковой степенью отчетливости и тоже в пределах одной картины. И вновь дело здесь не столько в особенностях художественного мышления средневековых мастеров, сколько в том, что время средневековым человеком воспринималось не как линейное, необратимое, бесконечно делимое (так относимся ко времени мы), а как единое, неделимое, вечное, без четкого различения настоящего, прошлого и будущего. Помещение же в одну плоскость картины реальных и фантастических, вымышленных событий обусловливалось

нечетким отделением мира земного от сверхчувственного, правды от вымысла.[8]

Эти и многие другие «несообразности» поведения людей прошлого станут понятными и правильно объясненными, если учитывать исторический характер сознания. Представители нового направления в исторической науке — исторической психологии, много делающие для понимания поведения людей средневековья и эпохи Возрождения, античности и нового времени, справедливо исходят из исторического характера содержания сознания человека, системы ценностей и идеалов, которыми он руководствовался в своей практике. Однако этого недостаточно, чтобы объяснить своеобразие человеческого поведения в различные эпохи. Важно учесть не только социально-историческую обусловленность представлений человека, содержания его сознания, ценностных ориентаций и критериев, которыми он руководствовался. Необходимо принять во внимание историчность самих механизмов психической жизни, важнейших психических процессов: восприятия и воображения, мышления и речи, памяти и самосознания, законов познавательной деятельности и эмоциональной жизни.

Психические процессы человека имеют характерные исторические особенности, которые порождаются своеобразными условиями жизни и общественной практики каждой исторической эпохи, опосредствуются системой орудий, с помощью которых человек воздействует на среду, и системой вещей, которые являются продуктом деятельности прежних поколений. Эти особенности определяются системой общественных отношений, под воздействием которых человек находится с первых шагов своей жизни, и системой языка, на котором он выражает свои мысли и чувства. Целый ряд психических процессов вообще не может сложиться вне соответствующих форм общественной жизни. Эти фундаментальные идеи психологической науки открывают широкие перспективы перед историками в исследовании поведения людей прошлого, в объяснении исторического процесса.

Эволюция сознания составляет часть общего процесса исторического развития человечества и совершается в соответствии с закономерностями этого процесса. Поступательное развитие производительных сил, овладение стихийными силами природы, высвобождение человека

из-под гнета стихийных общественных сил, социально-политического неравенства и духовной неразвитости требуют и одновременно обусловливают развитие сознания. В ходе этой эволюции сознание последовательно проходит несколько стадий, которые примерно соответствуют основным этапам развития общества.[9]

Современное состояние исторической психологии не дает возможности точно обозначить все стадии в развитии сознания и указать на их характерные особенности. Однако в ряду этой эволюции уже сейчас можно обозначить *три важнейшие точки*, равнозначные трем стадиям в развитии сознания: мифологическое, магическое или архаическое, сознание свойственно доклассовому обществу; традиционное, или религиозное, сознание развивается в докапиталистическом классовом аграрном обществе; урбанистическое, или рациональное, сознание возникает в буржуазном индустриальном обществе, но свое полное и совершенное развитие получает при социализме.[10]

Сознание — это психическая деятельность, обеспечивающая отражение внешнего мира, ту или иную возможность целеполагающей деятельности (под последней имеется в виду предварительное мысленное построение действий и предвидение их последствий), контроль и управление поведением личности, ту или иную степень самосознания или способности отдавать себе отчет в том, что происходит как в окружающем, так и в своем собственном духовном мире. Поскольку в основе всех функций сознания лежат познавательные процессы — ощущение, восприятие, воображение, память и мышление, направленные как на внешний мир, так и на самого человека, — то естественно, что именно познавательные процессы должны находиться в центре внимания при характеристике исторических типов сознания.[11]

Чтобы лучше понять как мифологический, так и традиционный типы сознания, рассмотрим сначала урбанистический тип сознания (в его *идеальном* виде), которым в общих чертах обладает современный взрослый человек в развитых странах, получивший систематическое образование. Это будет как бы точка отсчета в эволюции сознания, эталон для сравнения. *Рациональный тип* сознания в самом общем и законченном виде, ибо и он складывался постепенно, имеет следующие особенности.

1. Сознание осуществляет отражение внешнего мира целенаправленно и обобщенно — преимущественно в системе абстрактных понятий и категорий. Благодаря этому человек способен делать выводы, не только полагаясь на личный практический опыт, но и опираясь на логические рассуждения, или, как говорят психологи, на дискурсивные, вербально-логические процессы, что позволяет ему выходить далеко за границы непосредственного опыта, за пределы той информации, которую ему сообщают органы чувств. Мысль человека опирается на круг широких логических рассуждений, на творческое воображение, что неизмеримо расширяет внутренний мир человека.

2. Человек с рациональным типом сознания полностью выделяет себя из окружающей среды — как из природы, так и из социальной группы или общества — и противопоставляет себя и природе, и обществу как субъект объекту.

3. Чувствуя себя субъектом своих действий и воспринимая окружающую среду как объект воздействия, человек стремится преобразовать, изменить окружающий мир в соответствии со своими потребностями, целями, идеалами.

4. Человек в полной мере осуществляет целеполагающую деятельность. В обществе действуют люди, одаренные волей и сознательно преследующие определенные цели, осознающие свою принадлежность тому или иному классу или группе, в высокой степени способные к организации своей деятельности и предвидению ее результатов.

5. Личность с рациональным сознанием способна к самосознанию и самоанализу, к оценке своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, к целостной оценке себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего существа. При этом самосознание свойственно не только отдельным личностям, но и обществу, классам, социальным группам, поскольку они поднимаются до понимания своего положения в системе производственных отношений, своих общих интересов и идеалов. Человек осуществляет самоконтроль над собственными поступками, принимает и несет полную ответственность за них. Вследствие этого общество не осуществляет жесткого контроля над личностью, оставляя значительный простор для проявления инициативы и самостоятельности. Регулятором поведения выступают

этика, правовые нормы и идеология, которые имеют словесную форму, то есть вербализированы и выражены явным, открытым, всем понятным способом.[12]

Этот высший (к настоящему времени) тип сознания вырабатывался в ходе постепенного диалектического по своей сути развития сознания. Ему предшествовало по крайней мере два более низких по своему уровню типа сознания: мифологический и традиционный. Мифологический тип представляет почти полную противоположность рациональному, а традиционный тип находится как бы посередине между ними, обладая не только некоторыми особенностями того и другого, но и определенной спецификой.

Мифологический тип сознания в своем развитом виде характеризуется следующими чертами.

1. Отражение внешнего мира осуществляется сознанием первобытного человека стихийно, в процессе трудовой деятельности. Это отражение происходит не столько в понятиях и категориях, сколько на чувственном и действенно-наглядном уровне: архаическое мышление конкретно, ситуационно и непосредственно связано с ощущениями и действиями. Поэтому мифологическое мышление оперирует образами, а не понятиями. Первобытный человек дает имя собственное всему, что он видит, чувствует, слышит; все в мире имеет для него собственное имя, подобно тому как имеет собственное имя человек. Такое мышление представляет собой практические анализ и синтез.

Несмотря на свою конкретность и связь с непосредственными ощущениями, мифологическое мышление все же способно к обобщениям, классификации и анализу. Однако оно обобщает не на уровне понятий и категорий, а на уровне чувственного созерцания (на уровне ощущений, восприятий, представлений), без отрыва от конкретного, и обобщения выражает преимущественно действиями, образами, символами, жестами, то есть конкретно-наглядным способом. Классификация происходит не путем выделения существенных признаков предметов и явлений, не по категориям, а посредством объединения предметов и явлений в такие группы, которые когда-то встречались в практике человека, то есть путем воспроизведения наглядно-чувственной ситуации. Анализ совершается не с помощью дискурсивного рассуждения, а в ходе бессознательно-чувственного или чувственно-интуитивного пости-

жения практического смысла фактов и явлений, редко выходящих за границы личного опыта. Специфика архаического мышления в его метафоричности и наглядно-действенном способе выражения, оно оперирует готовым набором устойчивых образов и представлении, жестов и действий. Результаты познания мира, полученные в ходе общественной практики, кристаллизируются первобытным человеком в мифе, ритуале и церемониале, но миф еще очень тесно связан с обрядом. В системе первобытной культуры миф и обряд составляют два ее аспекта — словесный и действенный, «теоретический» и «практический».

Особенности мифологического сознания состоят также в том, что оно не чувствительно к логическому противоречию, сходство принимает за тождество, причину и следствие наделяет независимым бытием, смешивает реальное и идеальное, слово и действие, действительное и вымысел, неотчетливо разделяет субъект и объект, материальное и идеальное (то есть предмет и знак, вещь и слово, существо и его имя), вещь и ее атрибуты, единичное и множественное, статичное и динамичное, пространственные и временные отношения.

2. У человека отсутствует чувство личности, поскольку он понимает личность как безразличную часть целого, которая не обладает никакой спецификой, никаким своеобразием. Вследствие этого человек с мифологическим сознанием полностью сливается с той социальной группой, в которой он живет. Одновременно он не выделяет себя сколько-нибудь отчетливо и из природы и переносит на природные объекты свои собственные свойства, наделяет их жизнью, человеческими страстями, приписывает им сознательную, целесообразную деятельность, возможность выступать в человеческом облике, иметь социальную организацию и т. п. Эта «еще невыделенность» является результатом его неумения качественно отдифференцировать человека от общества, общество и человека от природы.

3. Не различая четко субъект и объект действий, «архаический» человек не чувствует себя ни субъектом, способным воздействовать на окружающий мир посредством магии, ни объектом воздействия таинственных сил. Создавая для обеспечения благополучия своей социальной системы целый мифологически-ритуальный комплекс и

обращаясь к магическим средствам поддержания существующего природного и социального порядка, первобытный человек стремился подчеркнуть и продемонстрировать свою причастность и неизменную доброжелательность ко всему сущему, ко всем природным объектам, силам и стихиям, свое желание жить с ними в мире и дружбе. Жить в постоянной гармонии со своей социальной группой и с природой — вот доминирующий мотив всех первобытных мифов, обрядов и ритуалов.

4. Человек с мифологическим типом сознания лишь в слабой степени осуществляет целеполагающую деятельность, поскольку мысленное построение действия и предвидение его отдаленного последствия ему трудно даются. Ему долгое время было недоступно земледелие, потому что не удавалось осознать причинно-следственную связь между посаженным в землю зерном или семенем и будущим урожаем. Не случайно, вероятно, и после неолитической революции земледелие и скотоводство не стали основными отраслями хозяйства в подавляющем числе первобытных обществ, а многие племена так и не узнали земледелия даже как вспомогательной отрасли производства.[13] Этому не противоречит «своего рода изощренность, операционная гибкость мифологического мышления», способность к анализу и классификациям, которые сделали возможной неолитическую техническую революцию, убедительно доказавшую, что «первобытная логика своими особыми средствами способна решать задачи, аналогичные тем, которые разрешает научная логика».[14]

Слабо выраженная способность к целеполагающей деятельности отчасти находит свое объяснение в отсутствии у архаического человека интереса к будущему, к изменению и новизне. Мифологическое сознание ориентируется исключительно на прошлое. С его точки зрения только цикличность и повторяемость событий и придает им реальность. Ясно, что при таком умонастроении технические и социальные изменения могли происходить лишь черепашьим шагом, что и подтверждает история первобытного общества.

5. Личность с мифологическим сознанием не способна еще к самосознанию, к оценке своего знания, нравственного облика, идеалов, мотивов поведения, ей несвойственны и самоконтроль над собственными поступками и

действиями, и принятие полной ответственности за них. Поэтому она нуждается в контроле со стороны той общности, где проходит ее жизнь. В силу этого в архаических обществах развивается система строгого социального контроля, которая почти, если не абсолютно, подчиняет человека определенным правилам поведения. «В свободной по видимости жизни дикарей личность от колыбели до могилы заключена в прокрустово ложе наследственного обычая».[15] Личность сливается с той ролью, которая ей отводится в данной социальной группе. При этом первобытные образцы поведения не обязательно выражаются словесно, они могут выступать в виде ритуала и церемониала, усваиваться в процессе ролевой либо сюжетной игры или танца детей и взрослых, подобно тому как современные дети первые опыты общественного поведения получают в процессе игры со сверстниками.[16]

Традиционный тип сознания, как уже говорилось, промежуточный между урбанистическим и мифологическим типами. В своем законченном виде он имеет следующие черты.

1. Отражение мира осуществляется преимущественно стихийно, но с элементами сознательности и на уровне житейских донаучных понятий. Благодаря этому результаты познания выражаются достаточно обобщенно и словесно. Однако знания, как правило, сводятся к констатации фактов и их описанию и не поднимаются до уровня объяснения и осмысления их в комплексе теоретических понятий науки, не образуют теории, стройной и логически непротиворечивой системы. Мышление, воображение находятся преимущественно в границах непосредственного практического опыта, а восприятие лишь в слабой степени вводит предметы в систему отвлеченных категорий, поскольку они еще недостаточно сформированы в языке. Значение вербально-логических операций в познании незначительно, движение мысли происходит в основном в пределах личного опыта, и процесс рассуждения в значительной мере ограничивается воспроизведением ранее сложившихся практических ситуаций.[17] Мышление, хотя и носит еще конкретный, наглядно-действенный характер, все же в большей степени, чем мифологическое сознание, способно к обобщению и анализу, причем результаты его выражаются главным образом словесно — в пословицах и поговорках, загадках и заговорах, сказках и песнях,

календарной и обрядовой поэзии. Сознание отличает реальное и идеальное, действительное и вымысел, но недостаточно четко и поэтому нередко смешивает их. Хотя традиционное сознание сильно вербализированно, ритуал и церемониал еще имеют некоторое значение. Вместе с тем даже в ритуале и церемониале слово играет решающую роль.

2. Человек с традиционным типом сознания лишь частично выделяет себя из социальной группы, где проходит его жизнь. Но это пока еще не противопоставление и даже не столько выделение, сколько различение себя и группы, которое нисколько не нарушает ее единства, а наоборот, поддерживает и развивает его. Отличая себя от группы, человек все еще чувствует свое тождество с ней, не мыслит существования отдельно от нее, он преисполнен общими интересами, не выпячивает и как бы не ценит свое «я». Однако он проявляет несравненно больше инициативы в действиях, чем прежде, в особенности тогда, когда дело касается защиты интересов группы, испытывая, правда, при этом потребность хотя бы в иллюзорной санкции или руководстве сверху — от бога, царя и т. п. Его поступкам свойственна небывалая прежде самостоятельность, которая может порой доходить (у некоторых — не многих) до способности разрыва не только с отдельными представителями группы, но и с самой группой. Можно сказать, что большинство людей еще находится под подавляющим влиянием авторитета группы, но возможность бунта, принципиального расхождения с группой уже существует, хотя и чрезвычайно редко реализуется. Вследствие этого складывается определенное равновесие человека и общества. Группа подчиняет входившего в нее человека и одновременно создает некоторые, пусть пока небольшие, возможности для проявления его индивидуальности.

Сходные отношения существуют и между обществом и природой. Человек уже выделяет себя из природы, вернее, отличает себя от природных объектов и сил, не сливается с ними, но и не противопоставляет себя им. Возможность перехода, превращения, метаморфозы одного одушевленного или неодушевленного предмета в другой перестала быть всеобщим принципом всего сущего и допускалась как исключение, являясь пережитком мифологического сознания.

Таким образом, человек и природа, личность и группа для человека с традиционным сознанием уже противостоят друг другу, но не в качестве противоположностей, а как взаимодополняющие части единого целого. Отношения человека к природе и обществу не достигли степени противоречивости, и человек не чувствовал себя еще способным отделиться от них и жить самостоятельно и независимо, полагаясь исключительно на свои силы. Вследствие этого он не считал себя способным творить реальную человеческую историю, не рассматривал себя субъектом ни по отношению к природе, ни по отношению к обществу. Напротив, он склонен был считать себя не субъектом своих действий, а объектом воздействия потусторонних таинственных сил, которые управляли и природой, и обществом.

3. Чувствуя себя объектом воздействия потусторонних сил (но это уже преимущественно не языческие духи, а персонифицированный бог, хотя пережитки первобытных верований сохраняются), человек с традиционным сознанием с помощью обрядов, в основе которых лежали вера в магическую силу слова и обрядовые действия, стремится обеспечить свое благополучие. Однако и в отношении к потусторонним силам имеется отличие от первобытного человека. Если последний стремился умилостивить таинственные силы просто для того, чтобы продемонстрировать свое доброжелательное к ним отношение, то «традиционный» человек пытается воздействовать на природу не через самую природу, а через бога. Следовательно, он поднимается до идеи о возможности воздействия на природу, хотя в мыслях своих себе отводит по преимуществу роль просителя, а не преобразователя.

4. Человек с традиционным типом сознания осуществляет преимущественно целеполагающую деятельность, благодаря тому что способен предвидеть отдаленные последствия своих практических действий. Он хорошо сознает причинно-следственные связи, но пока еще только в сфере непосредственного опыта.

5. Самосознание, самооценка и самоанализ в традиционном обществе по-прежнему носят групповой характер, так как человек неспособен к иной оценке самого себя, чем та, какую дает ему группа. Однако для человека стали иметь большое значение оценка, даваемая ему другими людьми, а также его социальный статус, престиж

и авторитет в социальной группе, что свидетельствует о желании не сливаться с другими, выделиться из группы. Это явилось важным шагом на пути к самосознанию личности. Повысилась способность человека к самоконтролю, но его поведение еще отличается большой стихийностью и эмоциональностью, поэтому в традиционных обществах роль социального контроля над поведением человека все еще очень велика. Поведение людей, их отношения между собой, вся их жизнь регламентировались в основном традицией, которая не нуждалась в рациональном истолковании, не осмыслялась в категориях пользы и выгоды, а принималась на веру, выражаясь в пословицах и поговорках, в нормах обычного права.[18]

Три исторических типа сознания суть три качественно новых типа сознания, которые последовательно сменяют друг друга в ходе общественного развития. Каждый последующий представляет более высокую ступень в эволюции человеческой психики. Вместе с тем каждую предыдущую ступень в развитии сознания неправомерно трактовать как примитивную, элементарную. Любой исторический тип сознания целесообразнее рассматривать как исторически обусловленную конкретную форму сознания, которая вполне — до определенной поры, разумеется, — соответствовала обществу и удовлетворяла его нужды. «Примитивное» («архаическое», «варварское») сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличается от современного рационалистического сознания иным способом расчленения и организации действительности, способом, вряд ли менее логичным и последовательным, чем наш, и главное, вполне соответствующим потребностям общества, которое выработало этот тип сознания.[19]

Первый тип сознания назван архаическим, магическим, мифологическим в виду его древности, первичности и большой роли в жизни первобытного человека магии и особенно мифа, который служил и инструментом социального контроля, и регулятором коллективного поведения, и средством поддержания социального и природного порядка и гармонизации человека с обществом, а общества с природой, и, наконец, своего рода символическим языком, с помощью которого человек моделировал, классифицировал и интерпретировал мир, общество и самого себя. Второй исторический тип сознания назван традиционным,

религиозным вследствие громадного значения традиции и в особенности религии в жизни человека, которая в условиях раннеклассового общества выполняла практически те же самые функции, что и миф в первобытном обществе. Третий тип сознания назван урбанистическим, рациональным. Он складывался прежде всего в городе. В обществе людей с таким типом сознания доминирует целенаправленное, сознательное, рациональное поведение, ориентирующееся не на традицию, а на целесообразность, личную или общественную пользу, а познание, объяснение и моделирование мира, общества осуществляется столько же практически, сколько и теоретически — с помощью научной системы понятий и вербально-логических операций. Практика служит преимущественно критерием истины.

Необходимо подчеркнуть, что ни мифологическое, ни традиционное, ни рациональное сознание не существуют в «чистом» виде. И то, и другое, и третье есть *научная абстракция*. В действительности в каждом из трех перечисленных типов сознания существуют элементы, фрагменты других типов сознания. Мифологическое сознание знает число, хотя абстрактность численных представлений еще относительна: первобытный человек представляет себе не числа вообще, а лишь числа определенных предметов. Первобытная логика проявляет тенденции, пусть слабые, к созданию более отвлеченных представлений. Лексикон даже самых отсталых племен, изученных европейцами, насчитывает не менее 10 тыс. слов. Эти языки тяготеют еще к конкретным, детализированным, единичным определениям, но в них уже содержатся, правда в очень небольшом количестве, обобщающие понятия среднего уровня: есть обозначения для дерева, кустарника, травы, но нет обозначения для растения; есть обозначения для рыбы или змеи, но нет обозначения для животного.

Традиционное сознание сохраняет некоторые компоненты и пережитки мифологического сознания: в нем большое значение имеют миф, ритуал и обряд. Но вместе с тем в нем явно обнаруживаются и элементы научного сознания. Древнегреческая натурфилософия, соединяя в себе разные отрасли науки с философией в ее самых умозрительных вариантах, представляла собой теоретическое знание, в котором на первый план выдвигались его объективность и логическая убедительность. Древнегреческие мыслители дали первые описания закономерностей

природы, общества и мышления, которые, несмотря на свое несовершенство, сыграли большую роль в истории науки. Античность отмечена созданием первых теоретических систем в области геометрии, механики, астрономии и права, не потерявших своего значения и по сегодняшний день. Но самое существенное в том, что античные философы ввели в практику мыслительной деятельности систему абстрактных понятий, превратили в устойчивую традицию поиск объективных естественных законов и заложили основу доказательного способа изложения материала, что, как известно, составляет важнейшую особенность научного мышления. Средневековые ученые не только сохранили, но и развили античную традицию, обогатив ее в ряде областей знания. В средневековье были сделаны крупные технические открытия: изобретены компас, механические часы, бумага и книгопечатание, водяные и ветряные мельницы и т. п. Значительный вклад в развитие мыслительной культуры, в совершенствование логики и искусства теоретических споров и дискуссий внесла схоластика. Традицию опытного изучения природных вещей и соединений заложила алхимия, а традицию систематического наблюдения за небесными светилами — астрология.[20]

Говоря о наличии в мифологическом сознании некоторых элементов традиционного и научного сознания, а в традиционном — элементов научного сознания, не следует забывать об одном важном обстоятельстве. Достижения античной и в особенности средневековой науки являлись достоянием ничтожной по численности кучки людей, прорыв к научному сознанию осуществляли немногие, даже самые выдающиеся представители античной и средневековой науки были обременены еще предрассудками и пережитками архаического сознания.

Причина того, что сознание на каждый данный момент представляет собой как бы «слоеный пирог», в котором содержатся фрагменты всех исторических типов сознания, заключается в диалектическом характере развития сознания. В ходе эволюции сознания каждый предыдущий этап уже содержит в скрытом виде элементы последующих этапов, а каждый последующий тип сознания не упраздняет полностью предыдущий, а, говоря на языке диалектики, «снимает» его: прекращение функционирования предыдущего типа происходит одновременно с сохране-

нием, сбережением всего того ценного, целесообразного, что в нем имелось. Традиционный тип сознания, пришедший на смену мифологическому, сохраняет многие его черты, а рациональный тип сознания, сменивший традиционный, сохраняет не только некоторые черты традиционного, но и отдельные особенности мифологического сознания. Определенные черты мифологического сознания имеют аналогии в продуктах фантазии человека многих исторических эпох. Поэтому, хотя мифологическое сознание доминирует только в архаических культурах, миф в качестве некоего «уровня» или фрагмента присутствует в самых различных культурах, особенно в литературе и искусстве, обязанных ему многим генетически и отчасти имеющих с ним общие черты («метафоризм» и т. п.). «Познавательные возможности мифологического мышления (в частности, его особая „полнота" за счет включения эмоционально-интуитивного начала) и историческое сосуществование мифологического и научного мышления не позволяют рассматривать первое исключительно как несовершенного предшественника второго... Мы можем рассматривать мифологическое и научное мышление синхронически, — справедливо указывает Е. М. Мелетинский, — как два логических „типа" или „уровня"».[21]

Многие выдающиеся ученые — А. Эйнштейн, И. Кант, Н. Винер, И. П. Павлов и др. — отмечали громадное значение образно-эмоционально-интуитивного начала в научном творчестве, то есть по существу признавали наличие в сознании ученого мифологического «уровня» или «фрагмента». «Воображение интуиции, используемое в разумных пределах, остается необходимым вспомогательным средством ученого в его движении вперед, — пишет, например, известный физик Луи де Бройль. — Человеческая наука, по существу рациональная в своих основах и по своим методам, может осуществлять свои наиболее замечательные завоевания лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков строгого рассуждения: их называют воображением, интуицией, остроумием».[22]

Крупный английский ученый Ф. Гальтон отметил, что в процессе его рассуждений нередко случалось, что он «слышит аккомпанемент слов, лишенных смысла, как мелодия песни может сопровождать мысль». Известный французский математик Ж. Адамар утверждал, «что слова

полностью отсутствуют в моем уме, когда я действительно думаю... когда я слышу или прочитаю вопрос, все слова исчезают точно в тот момент, когда я начинаю думать; слова появляются в моем сознании только после того, как я окончу или заброшу исследование, точно так же как и у Гальтона, и я полностью согласен с Шопенгауэром, когда он пишет: „Мысли умирают в тот момент, когда они воплощаются в слова"».[23]

В некоторых случаях подход мифологического сознания к решению проблем человеческого бытия в рациональном сознании преобразуется в строгий научный метод! Так, кардинальная черта мифологического сознания состоит «в сведении сущности вещей к их генезису: объяснить устройство вещи — значит, рассказать, как она делалась; описать окружающий мир — то же самое, что поведать историю его первотворения... Знание происхождения является ключом к использованию вещи, и знание о прошлом отождествляется с мудростью».[24] А что такое генетический метод в современном научном, в частности историческом, исследовании? В своей хронологически-описательной разновидности, когда исследователь реконструирует последовательность событий, тщательно и подробно выясняет происхождение, генезис данного конкретного явления, чтобы его объяснить, генетический метод почти буквально повторяет главнейший путь познания, практиковавшийся первобытным человеком. А в своей стадиальной разновидности, когда исследователь стремится к выявлению и описанию закономерностей и основных этапов определенного процесса, генетический метод является дальнейшим развитием исторического метода познания мифологического мышления. Сущность — в прошлом, полагал Гегель. А ведь точно так же думал и первобытный человек. Диалектический метод Гегеля вообще удачно трансформировал многие свойства мифологического мышления. «Психологизм XIX века в своем развитии с необходимостью наталкивается на мифологические первоосновы современного сознания, что дает возможность лишить миф книжной условности и заставить мир архаики и мир цивилизации активно объяснять друг друга».[25]

Можно сказать, вероятно, что в любую эпоху сознание отдельного человека, как и сознание социальных групп и общества, в целом мозаично, поскольку в нем одновременно сосуществуют несколько уровней, важнейшие

среди которых мифологический, традиционный и рациональный. Но в каждую историческую эпоху мозаика будет существенно иной, ибо сочетание этих уровней различно. Господствующий уровень и будет определять исторический тип сознания. В первобытном обществе доминирует мифологический уровень сознания, а традиционное и в особенности рациональное сознание выступают лишь как высшие его фрагменты и элементы. В этом смысле говорится, что в доклассовом обществе господствует мифологический исторический тип сознания. В раннеклассовом обществе превалирует традиционный уровень сознания, а мифологическое и рациональное сознание составляют соответственно низший и высший слои этого сознания. В этом смысле сознание раннеклассового общества определяется как традиционное. Наконец, в развитом индустриальном обществе преобладает рациональный тип сознания, а мифологическое и традиционное сознание представляют собой его низшие слои. В этом смысле сознание индустриального общества называется рациональным. Таким образом, ведущий уровень сознания и обусловливает то или иное название сознания в определенную эпоху. А последовательная смена одного доминирующего уровня другим дает право говорить об исторических типах сознания.

Мозаичность и многослойность сознания не нарушают, однако, его целостности и единства. В решении любой задачи сознание выступает как целостная функциональная система, все этажи которой согласованно и гармонично работают. Высшие психические функции человека являются сложноорганизованными системами, отдельные компоненты которых локализуются в разных областях мозга и сочетаются в различных комбинациях в зависимости от конкретной задачи. При этом ни отдельные компоненты, ни функциональные связи между ними не складываются к моменту рождения ребенка. Они формируются в ходе развития индивида и в очень большой степени зависят от социального опыта человека, от его образования, условий жизни и т. п.[26]

Подчеркнем, что выделение трех типов сознания не исчерпывает всего фактического многообразия уровней психического развития человека. Три исторических типа сознания — это всего навсего трехчленная (то есть раздельная, прерывная) шкала порядка, или последователь-

ности, наложенная на длинный, непрерывный и, вероятно, бесконечный эволюционный ряд, каким представляется в действительности развитие человеческого сознания. Это три точки, три ориентира, которые могут быть полезными для исследования исторической эволюции сознания. То, что этапов в действительности было больше, доказывается, между прочим, тем фактом, что исследователи отдельных сторон сознания выделяют в их развитии большое число стадий. Например, в развитии самосознания личности некоторые исследователи выделяют пять «вех».[27] Поэтому целесообразно допустить, что в пределах каждого из предполагаемых типов сознания существовали не принципиально, но существенно различные подтипы сознания: низший, промежуточный и высший. Весьма вероятно, что до неолитической технической революции, в ходе которой произошел переход от присваивающей экономики к производящей, господствовал низший подтип мифологического сознания, а после нее, вплоть до образования классовых обществ, — высший и т. д. Во всех случаях низший подтип сознания имеет много пережитков предшествующего типа сознания, а высший подтип обладает чертами следующего за ним более высокого типа сознания.

Важно отметить также, что и конкретные виды сознания, бытовавшие в обществах, не всегда и не вполне укладываются в схему трех исторических типов сознания. Это неизбежно, так как в пределах типов и подтипов сознания всегда имелись сообщества или общества людей, стоявшие на смежных уровнях психического развития. Объясняется это тем, что свойства высшего уровня сознания всегда зарождаются на предшествующем уровне. Кроме того, следует иметь в виду, что классовые общества имеют неоднородную социальную структуру. Вследствие этого господствующий класс и народные массы, обладая в принципе одним типом сознания, в рамках этого типа имеют существенные особенности в сознании, порожденные, в частности, разным уровнем образования. Так, в западноевропейском феодальном обществе сознание социальной верхушки, особенно образованной его части, в большей мере было христианизированным и в меньшей степени языческим, в большей степени рациональным и в меньшей степени традиционным, чем сознание народных масс. Почти в той же мере сознание горожан отличается от сознания крестьян. В сознании верхов и горожан сохрани-

лось меньше черт мифологического типа, чем в сознании крестьянства. Точно так же в западноевропейском буржуазном обществе сознание крестьянства сохраняло пережитки традиционного типа в течение более долгого времени, чем сознание социальных верхов и горожан и т. п. «Человеческое „я“ — явление не только психологическое, но и социально-культурное».[28]

Наконец, говоря об индивидуальном сознании, нельзя не учитывать и индивидуальные различия людей, принадлежащих к одному классу или даже к одной социальной группе.[29] Эти различия в интеллекте и образовании (последнее имеет колоссальное значение), в характере и условиях жизни оказывали важное влияние на уровень сознания личности. Платон и рядовой грек, Марк Аврелий и римский ремесленник, Августин и средневековый крестьянин, Кант и бюргер его эпохи и т. д. отличались друг от друга столь сильно, хотя жили в одно время, что сочетание элементов мифологического, традиционного и рационального сознания было у них совершенно иным. Поэтому, когда говорится о «традиционном», «архаическом» или современном человеке или о связи исторического типа сознания с той или иной общественно-экономической формацией, имеется в виду типичный, или модальный, человек, то есть наиболее распространенный в статистическом смысле человек определенной эпохи. Ибо невозможно без множества оговорок дать формулировку особенностей исторических типов сознания, приуроченных к тому или иному этапу общественного развития, которая бы покрывала конкретное сознание всех людей, живших в ту или иную пору. В одно и то же время живут люди с разными типами сознания, вернее, с разными сочетаниями элементов различных исторических типов сознания.

В наше время в развитых капиталистических странах имеются еще полностью неграмотные. Их познавательные процессы происходят на допонятийном уровне, и потому их психика обладает многими или некоторыми особенностями традиционного типа сознания. Многие современные этнографы считают, что мифологические представления с некоторыми изменениями и вариациями дожили в народной среде до XX в. Однако тип сознания в современных буржуазных обществах определяют не эти пережитки традиционного и мифологического типов сознания, а господствующий, свойственный большинству людей

рациональный тип сознания. Точно так же в любом докапиталистическом обществе можно встретить людей с нетипичной для него психикой. Объяснять их поведение следует с учетом уровня их психического развития, но понять поведение большинства людей можно, лишь учитывая уровень сознания типичного человека данного общества.

Эволюция исторических типов сознания имеет сходство с развитием сознания ребенка в современных развитых индустриальных странах. Оно тоже проходит три основные стадии, прежде чем достигает научного уровня.[30] Коренные изменения сознания ребенка происходят по тем же самым линиям, что и изменения исторических типов сознания: от конкретно-образного отражения действительности к понятийному, от слияния себя со средой к четкому выделению себя из нее, от восприятия себя объектом воздействия внешних сил к осознанию себя субъектом своих действий, от бессознательного и стихийного поведения к сознательному и самоконтролирующему, от оценки и восприятия себя со слов окружающих к самосознанию и самооценке. Однако, как и в эволюции человеческого сознания, эти изменения в детской психике происходят не автоматически, поскольку они не запрограммированы биологически, а возникают только в процессе обучения, общения со взрослыми и активной деятельности ребенка. Ребенок, не прошедший школьного обучения и не включившийся активно в жизнь взрослых людей с рациональным типом сознания, в отношении мышления и других психических процессов всю жизнь будет находиться на детском или во всяком случае на более низком уровне, чем его однолетки, получившие образование и занимавшиеся активной деятельностью под руководством взрослых.

Известный прогрессивный швейцарский психолог Ж. Пиаже считает, что «конечная» стадия интеллектуального развития ребенка — «стадия формального пропозиционного мышления, которая у европейских детей формируется в возрасте от 12 до 15 лет, — может вовсе не появляться или, возможно, появляется в ограниченной, менее общей форме в тех культурах и у тех индивидов, опыт которых ограничивается одними или несколькими видами технической или иной профессиональной деятельности».[31] Учет этого обстоятельства проливает свет на характерное для многих первобытных, варварских обществ

и для западноевропейского средневековья игнорирование детства как *особого качественного состояния* (это проявлялось в том, что взрослые и дети обучались вместе, не было специальной детской одежды, детских игр, ребенок рассматривался как естественный партнер взрослых, а художники изображали детей, как взрослых, только уменьшенного размера).[32] Можно допустить, что игнорирование детства определялось не только тем, что средневековому человеку была чужда идея развития и изменения,[33] но и тем, что в психологическом отношении — во всяком случае в отношении познавательных процессов — дети и взрослые в средневековом обществе отличались друг от друга не столь существенно (или во всяком случае имели больше общего, чем взрослые и дети в современных индустриально развитых странах). Недостаточно сильное фактическое различие в психологическом отношении взрослых и детей, возможно, и послужило дополнительным основанием для того, что дети с семилетнего возраста — именно с того момента, когда в отношении некоторых важных познавательных процессов они приближались к взрослому человеку с традиционным типом сознания, — вливались в большую семью взрослых, разделяя со своими друзьями, молодыми и старыми, повседневные труды и развлечения. К XVIII в., когда взрослые стали значительно отличаться от детей в психологическом отношении (в результате специального обучения, образования, усложнения общественной практики и т. п.), дети перестали быть их партнерами, и постепенно — по мере роста этого различия — между миром взрослых и миром детей возникла стена, которая преодолевалась длительным процессом образования и воспитания ребенка. Не случайно, по-видимому, и то, что среди простого народа, в особенности в среде крестьянства, куда образование и просвещение пришли значительно позже, партнерские отношения между взрослыми и детьми продолжались значительно дольше.

Как же происходит переход от одного исторического типа сознания к другому? Можно предположить, что развитие сознания, как и развитие всего, что связано с человеком, происходит диалектически, то есть путем медленного накопления количественных изменений, которые затем приводят к возникновению нового качества, нового типа сознания. Такие скачкообразные переходы от одного типа сознания к другому независимо от их

длительности логично рассматривать как *психологические революции*. Психологические революции проходили наряду с политическими, культурными, научно-техническими революциями и ими обусловливались. В этом смысле они отражали изменения в общественной практике. Но вместе с тем психологические революции, радикально изменяя строение и характер сознания человека, изменяли одновременно и поведение отдельных людей и целых групп в обществе. В этом смысле они воздействовали на общественную практику.[34] Каждый тип сознания определял ту или иную форму познания мира, ту или иную степень самосознания и самоконтроля, ту или иную форму целеполагающей деятельности, обеспечивая функционирование целого спектра социально-экономических укладов и общественных отношений, различных обществ людей, которые имели существенное сходство.

Предложенная схема в эволюции сознания имеет скромную цель — наметить некоторые вехи этой эволюции в виде трех исторических типов сознания. Эволюцию человеческой психики в форме трех исторических типов сознания следует рассматривать только как рабочую гипотезу, требующую и экспериментальной проверки, и наполнения конкретно-историческим содержанием, что могут сделать конкретные исторические и этнографические исследования.

Однако по тем ли линиям и через те ли именно этапы проходила эволюция человеческого сознания или они были иными — это не изменяет главного (в нашем контексте интеграции социологического и исторического подходов) и социологического в своей основе вывода об историческом характере психических процессов и человеческого сознания. И это следует учитывать как при использовании социологического подхода в исторических исследованиях, так и в традиционно исторических по своему характеру исследованиях. Поясним эту мысль на конкретных примерах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РУССКОГО КРЕСТЬЯНИНА ФЕОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ

Предлагаемый ниже анализ некоторых особенностей поведения русского крестьянства феодальной эпохи носит предварительный характер и поэтому во всех отношениях

является гипотетическим. Только в таком виде — как предположение, как рабочая гипотеза — его и следует рассматривать. Историческая психология — наука молодая и «неопытная», в ней еще столько неясного, неоткрытого, что первые результаты ее применения в конкретном историческом анализе и не могут быть иными, чем более или менее удачными гипотезами. «Всякое начало трудно, — указывал К. Маркс, — эта истина справедлива для каждой науки».[35] Однако важно поставить проблему, а коллективные усилия историков несомненно приведут к ее успешному решению. «Когда я оглядываюсь на пройденный путь, у меня возникает мысль, что куда труднее было поставить проблемы, нежели их разрешить», — писал Ч. Дарвин в своей автобиографии. Это соображение и побуждает нас поделиться с читателем некоторыми результатами историко-психологического подхода к социальному поведению русского крестьянства феодальной эпохи.

Историку полезно знать и учитывать исторические особенности сознания крестьянина феодальной эпохи для более адекватного объяснения его общественного поведения. Эти особенности ни в коей мере не могут объяснить полностью все социальное поведение крестьянства, поскольку оно обуславливается в первую очередь социально-экономическими факторами. Однако исторические особенности группового сознания крестьянства откладывают свой несомненный отпечаток на все его поступки, а в некоторых случаях можно постичь социальное, экономическое, демографическое и политическое поведение крестьянина, только учитывая своеобразие его восприятия и мышления.

Например, проблема самозванчества и так называемого наивного монархизма находит дополнительное объяснение, если учесть, что крестьянин в крепостную эпоху не чувствовал себя субъектом своих действий, а воспринимал себя и окружающих людей как объект воздействия потусторонних сил, не обладал достаточным индивидуальным самосознанием. Поднимаясь на борьбу против своих угнетателей, вызванную в первую очередь объективным тяжелым положением, крестьянство нуждалось хотя бы в иллюзорном руководстве и санкции «сверху». И совершенно естественно, что и руководство, и санкцию сверху крестьянство, как правило, «получало» от «помазанника божьего» — царя. Последний «становился» во главе социального движения потому, что, по

представлению крестьян, только царь был настоящим руководителем, субъектом действий, поскольку непосредственно за всеми его поступками стоит бог. Руководствс «сверху» могло осуществляться и косвенно, через письма, указы, виде́ния и слухи. Не потому ли в большинстве крупных крестьянских движений XVII—первой половины XIX в. мы обязательно встречаем самозванных руководителей, действующих именем или от имени царя, или подметные письма, указы, слухи, оправдывающие данное социальное движение? Эту особенность крестьянского сознания феодальной эпохи отметил и блестяще объяснил К. Маркс: «Поскольку между парцельными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, — они не образуют класса. Они поэтому неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени. . . Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться их господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им свыше дождь и солнечный свет».[36]

Не потому ли крестьянство часто нуждалось в санкции «сверху» и «получало» ее, хотя бы призрачно, в своем воображении? «В понятие „мы“ включался (крепостными. — *Б. М*) не только „мир“ (община. — *Б. М.*), но и царь, и бог. В представлении крестьян бог и царь были их союзниками, их защитниками от всех и всяких „они“. Это обстоятельство облегчало решимость крестьян выступать в защиту своих интересов. „Законность“ своих выступлений крестьяне всегда обосновывали нормами религиозной морали или ссылкой на царские указы. На тех же основаниях действия помещиков объявлялись „незаконными“, нарушающими волю царя», — тонко подметил Б. Г. Литвак.[37]

Психологическая потребность в санкции «сверху» помогает отчасти объяснить и другой феномен классовой борьбы крестьянства в крепостное время: обычно локальные движения начинались с подачи прошения на высочайшее имя. Крестьяне, как правило, «легализировали» свои выступления письменным обращением к царю. Прошение на имя царя составлялось в самом начале выступления,

а уже в разгаре его создавалась возможность оттянуть отрицательный для крестьян исход борьбы ссылкой на ожидание царского ответа. Случаи благоприятного решения царя или правительственных ведомств еще более способствовали заблуждению крестьян.[38] Подача прошения являлась, таким образом, с точки зрения крестьян оправданием и обоснованием неповиновения помещику. Как и в случае самозванчества, здесь тоже проявилась историческая неразвитость крестьянской личности, не поднявшейся еще до осознания того, что человек — субъект своих действий. В свете этого с психологической точки зрения наивный монархизм, — вероятно, не что иное, как поиск поддержки «сверху» вследствие затруднительности для крестьянства подняться на борьбу без апелляции к царю и богу. Крестьянин не только верил в доброго «царя-батюшку», он также нуждался, хотя бы иллюзорно, в санкции и помощи «сверху», как нуждался в этом его сказочный герой, даже если герой был богатырем.

«Русский народ... устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против *дворянства* и против отдельных чиновников, но *против царя — никогда,* кроме тех случаев, когда во главе народа становился *самозванец* и требовал себе трона, — указывал Ф. Энгельс. — . . .Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом: Bog vysok, Car daljok, до бога высоко, до царя далеко, восклицает он в отчаянии».[39]

Исследователи идеологии крестьянства крепостной эпохи постоянно отмечают ее противоречивость.[40] Действительно, в политических и социальных воззрениях крестьянства отдельные идеи логически не увязаны. Крестьянин мог считать всех царей антихристами, виновниками всех его бед и одновременно полагать, что избавление придет только от царя, думать, что царь — хороший, а помещики — плохие, и т. д. Учет особенностей традиционного крестьянского сознания и помогает объяснить этот парадокс. «Традиционный» человек не чувствителен к логическим противоречиям, затрудняется в решении силлогизма потому, что посылки силлогизма воспринимаются им как частные положения, не образующие единую логическую систему.[41] Похоже, что с аналогичной ситуацией сталкиваемся мы и в социальных и политических воззрениях крестьян феодальной эпохи. Последние не воспринимали отдельные положения своей «доктрины» как логические

звенья, а всю «доктрину» в целом как единую непротиворечивую систему — такой подход свойственен только научному мышлению. Каждое отдельное положение крестьяне воспринимали изолированно, оно имело ценность само по себе и соответствовало той или иной группе известных или вымышленных ими фактов; согласованность, соответствие отдельных идей и фактов друг другу их мало беспокоили. Может быть, поэтому в крестьянском сознании мирно уживались противоречия. Весь царский род состоял из антихристов — это «факт», потому что Петр I был подменен в колыбели, полагали, например, раскольники. Но освобождение придет от царя, потому что только царь может отменить старые законы и ввести новые, благоприятные крестьянам. Никаких противоречий нет, если каждую из этих идей воспринимать изолированно, противоречие возникает только тогда, когда идеи рассматриваются в системе.

Недостаточное умение абстрактно и обобщенно мыслить вместе с неспособностью создавать *непротиворечивые* системы воззрений, возможно, послужило психологическим препятствием для создания крестьянством феодальной эпохи каких-либо оригинальных политических концепций, для осознания им своих классовых целей и необходимости политической борьбы за изменение государственного строя. Отражая общественное бытие на конкретно-чувственном уровне (как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, в феодальную эпоху «производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»),[42] крестьянство не в силах было понять причины эксплуатации, увидеть своего подлинного классового врага и составить ясное представление о том, как улучшить свою жизнь. Формулируя причины поражения первого крупного крестьянского движения в начале XX в., уже в пролетарский период освободительной борьбы, В. И. Ленин указывал: «Крестьянское восстание было подавлено, потому что это было восстание темной, несознательной массы, восстание без определенных, ясных *политических* требований, т. е. без требования изменить *государственные* порядки».[43]

Узость кругозора, психологическая невозможность для крестьянина оторваться от своего маленького личного или деревенского практического опыта, увидеть смысл

в событиях, происходивших за околицей своего села, приводили к тому, что крестьянин не только пропускал мимо себя великие исторические события,[44] но и вообще порой не интересовался тем, что делается в стране. «Неустанный труженик не знал, куда, кому и зачем он платит, не имея никакого понятия о земстве, о выборе в гласные и т. д., — писал о крестьянах 80-х гг. XIX в. (!) Г. И. Успенский. — Твердо был уверен, что все это до него ни капли не касается... Он почти ничего не знает насчет „своих правов", ничего не знает о происхождении и значении начальства, не знает, за что началась война и где находится враждебная земля и т. д.».[45] И дело здесь, вероятно, не только в том, как полагал Г. И. Успенский, что крестьянин «заинтересован своим делом и ему некогда было интересоваться всем этим».[46] Причина глубже — возможности психики крестьянства, определявшиеся его положением эксплуатируемого и задавленного экономически и духовно класса, как указывалось выше, позволяли ему иметь суждение исключительно о предметах и явлениях окружающего его мира; все, что выходило за границы его индивидуального опыта, не могло попасть в его сознание и быть предметом рассмотрения и осмысления.

С точки зрения современного человека кажется несложным делом представить себе социальную структуру русского общества первой половины XIX в., выделить эксплуататоров — помещиков и эксплуатируемых — крестьян, обнаружить тесную связь между помещиками и царизмом. Крепостному крестьянину это было сделать не под силу — он не обладал необходимым для подобного заключения абстрактным и обобщающим мышлением. «Народ до сих пор представляет различие слоев общественных на основании различия служебного положения известного лица в государстве, — писал о крестьянах даже второй половины XIX в. (!) этнограф Я. Кузнецов. — Так, мужик живет и служит для того, чтобы пахать, косить, платить подати и всех кормить; барин — чтобы смотреть за нравственностью мужика, выколачивать недоимки и получать жалованье; священник — чтобы венчать, крестить, хоронить и т. д.». В крепостное время «мужик не считал помещиков кастою, сословием. Он думал — крепостник-помещик умрет вместе с падением крепостного права, а землю всю отдадут мужикам». После отмены крепостного права, «видя, что помещик живет, мужик начинает

уяснять себе такое *абстрактное* (курсив наш. — *Б. М.*) понятие о помещике-дворянине, как целом сословии со всеми привилегиями, принадлежащими дворянству».[47]

Неразвитость чувства классового самосознания у крестьян неоднократно отмечалась советскими историками.[48] В крестьянском сознании антиподом общины — «мира» являлся в первую очередь помещик. Однако было бы неверно представлять, что для крестьян «мир» — это «мы», а «они» — это только помещик и все, защищающие его интересы. Такая четкая схема классово-сословных отношений еще не сложилась в крестьянском сознании в первой половине XIX в. «Они» — это и крестьяне соседнего села, и крестьяне других сословий, и даже одновотчинные крестьяне, пользующиеся большими льготами, чем данный «мир». Крестьяне враждующих помещиков тоже не составляли единого «мы», а делились на «мы» и «они», что наглядно продемонстрировано у А. С. Пушкина в его романе «Дубровский». «Общность обнаруживалась лишь в вере и в борьбе с внешним врагом. Но именно эти два могучих фактора формирования сознания регулировались господствующим классом, поэтому их влияние на формирование классового самосознания крестьян всегда оказывало отрицательное действие».[49]

Есть основание думать, что традиционное мышление крестьянина затрудняло четкое понимание им руководящих принципов и своей собственной жизни. «*Из-за отсутствия привычки к отвлечению* (курсив наш. — *Б. М.*) мужик не может объяснить основ своей жизни, например, что такое передел и как он производится».[50] В первое время после отмены крепостного права между крестьянами существовало «тайное поверье», что надельная земля вскоре без всякого оброка или выкупа перейдет к ним. Крестьяне ждали «чистой воли». Эту социальную иллюзию точно объяснил известный публицист 1860-х гг. В. Скалдин: «Явление это весьма естественно, ибо земледелец, только что вышедший из крепостной зависимости и которому *недоступно разумение отвлеченного юридического права* (курсив наш. — *Б. М.*), не в состоянии понять различия между зависимостью личною и зависимостью поземельною; он убежден, что с прекращением первой должна прекратиться и вторая».[51] Пустая мечтательность — в данном случае ожидание «чистой воли» — являлась одной из причин роста недоимок: крестьяне надеялись, что вместе

со «второй волей» придет прощение недоимок.[52] Таким образом, неверные представления, вызываемые до некоторой степени особенностями крестьянского сознания, порождали определенное социальное поведение — уклонение некоторой части земледельцев от уплаты налогов и выкупного платежа.

Возникает и другой вопрос: а не служили ли недостаток самосознания в отдельной личности и потребность в санкции «сверху» психологическим основанием подчинения детей родительской воле, женщин — мужчинам, мужчин — общине, общины — помещику? Вот интересный пример учета этих моментов при объяснении известным этнографом XIX в. поведения крестьянской девушки. «У девушки *смутны еще взгляды на свою свободу* (здесь и далее курсив наш. — *Б. М.*) и власть отца; она *смешивает* и то, и другое и никак не может провести тут границы для нормальных отношений (отцов к детям)... Родительское насилие девушка еще плохо сознает, она *только ощущает* эту тяжесть и безропотно переносит ее». Даже в тех случаях, отмечает автор, когда девушки идут против воли родителей, здесь «*нет сознательного протеста,* вытекающего из стройной критики семейных отношений. Перед глазами девушки тут вовсе не преступная чрезмерность родительской власти, перед ней безусловно один девичий интерес ее и болезненный страх за него. Противится она не потому, что сознает свое право и ясно различает злоупотребление отца, а потому что слишком дорога ей утрата девичьего интереса своего... Выйди они замуж — и через два-три года вы увидите в них только суровых крестьянских матерей, похожих на своих бабушек и прабабушек».[53] Автор верно подметил, что крестьянская девушка не вдумывалась глубоко в жизнь, не разбирала критически отношений, в которых она участвовала, а только *ощущала* их тяжесть, в чем в сущности и выражался недостаток самосознания. Вследствие этого ее поведение было эмоционально-бессознательным, она слепо следовала сложившейся веками традиции в отношениях отцов и детей, хотя ее поступки и были окрашены чувствами.

Не лежал ли подобный психологический механизм и в основе протеста и подчинения крестьянки мужчине, мужчины — общине, общины — помещику, местной или высшей администрации? Недостаток самосознания у крестьянина как личности, у крестьянства как класса способ-

ствовал конформистскому поведению, основанному на традиции, норме. «Отклоняющееся» поведение — сюда входит и протест крестьян — происходило, как правило, не из осознания ими своего положения в системе общественных отношений, не из сознательного стремления к улучшению этого положения, а порождалось конкретными, нередко маленькими обидами, нанесенными помещиком, нарушениями привычных отношений, понижением жизненного уровня и т. п. Значительная часть выступлений крестьянства крепостной поры направлялась не против крепостного права как такового, а против «злоупотреблений крепостным правом».[54] Отсюда, несмотря на то что в основе социального протеста крепостных крестьян всегда почти лежали социально-экономические причины, они не осознавались, а только ощущались. По-видимому, этот смысл вкладывал В. И. Ленин в понятие «доверчивости и бессознательности» крестьян, когда говорил об особенностях крестьянских выступлений.[55] Эти особенности мироощущения крестьянства как пережиточные явления эпохи крепостничества сохранялись долго после реформы 1861 г.[56] Как рабочий класс не мог собственными силами выработать социалистическую идеологию, так и крестьянство в феодальную эпоху не могло выработать антифеодальную идеологию. «Собственное его сознание, — справедливо пишет Б. Г. Литвак, — не может подняться выше понимания необходимости борьбы против помещиков».[57]

Можно допустить также, что ощущение крепостным крестьянином себя объектом, а не субъектом и не личностью в какой-то мере смиряло и «облегчало» — разумеется, чисто психологически — его пребывание в личной зависимости от помещика. Крестьянин большей частью не воспринимал крепостную зависимость как нарушение человеческих прав, как надругательство над личностью. Крепостное право понималось им не абстрактно — как полная власть над крестьянином, его жизнью и имуществом, а конкретно — как обязанность что-то исполнять, платить ренту, ходить на барщину и т. д. Это не то чтобы примиряло крестьянина с крепостною зависимостью, а ослабляло напряженность его отношений с помещиком, оттягивало момент, когда крестьянин мог бы сказать свое решительное нет крепостному праву. Человек, чувствующий себя личностью, субъектом, не смог бы так долго терпеть крепост-

ную зависимость, к тому же в наиболее жестоких (самых жестоких в Европе) формах, как это случилось в России. По мере укрепления в крестьянине чувства собственного достоинства, по мере роста ощущения себя личностью он усиливал свой протест против нарушения его прав. Это, в частности, проявлялось в фактах крестьянского протеста против помещичьего вмешательства в семейную жизнь крепостных, против обращения с ними, как с живым инвентарем, и т. п. Причем сколько-нибудь заметный размах борьба за человеческие права в среде крепостных получила только в первой половине XIX в., в канун отмены крепостного права.[58] И это не случайно. В. И. Ленин писал: «Именно система „стародворянского" хозяйства, привязывавшая население к месту, раздроблявшая его на кучки подданных отдельных вотчинников, и создавала придавленность личности. И далее, — именно капитализм, оторвавший личность от всех крепостных уз, поставил ее в самостоятельные отношения к рынку, сделав ее товаровладельцем (и в качестве такового — равной всякому другому товаровладельцу), и создал подъем чувства личности».[59]

Имеющиеся данные позволяют думать, что слабое развитие чувства личности и как следствие этого потребность в руководящих указаниях и признании «сверху» проявлялись не только в политическом и социальном поведении, но и в повседневной жизни крепостных крестьян (при этом «сверху» означало для женщин и детей указание отца и инстанций, стоявших над ним, для отца — указание общины и стоявших над ней, для общины — указание помещика и власть предержащих). Хорошо известна *публичность* всех событий крестьянской жизни, таких как свадьба и похороны, уход в армию и рождение ребенка, крещение и сватовство и т. п. Эта публичность была характерна для быта как крепостной, так и пореформенной поры. «Деревенский человек, — отмечали наблюдатели крестьянской жизни, — привык жить открыто. Большая часть его жизни проходит „на миру", на улице, на глазах у всех. Даже самые интимные моменты своей жизни он не умеет скрыть от улицы: как, что и сколько он работает, как, что и сколько он ест, как и кого он любит, как воспитывает детей, каковы отношения в его семье — все это известно „миру", „улице" до мельчайших подробностей точно так же, как известно и то, кого он ненави-

дит».[60] Тяготило ли это крестьян, принимал ли он какие-нибудь меры к сохранению семейных тайн? Вероятно, нет. Ведь тайны не только не пытались скрыть, но, напротив, тотчас же делали достоянием всей деревни. Даже обманутый муж не стеснялся провести изменившую ему жену голой через все село.

Крестьянин вовсе не нуждался публичности своих действий, более того, сам стремился и нуждался в ней. Почему? «Мир», «улица» давали санкцию на все, что делал крестьянин. Без этой санкции ни свадьба, ни похороны, ни рождение не становилось *действительными событиями* в глазах крестьянина. Чем больше людей были свидетелями того или иного события, чем больше, значительнее санкция, тем, следовательно, весомее, реальнее становилось данное событие для крестьянина — таков результат слабого развития индивидуального самосознания и того, что крестьянин не чувствовал себя истинным субъектом своих действий. Это вполне согласуется с мыслью А. И. Клибанова, считающего, что для «традиционного» крестьянина публичность личности являлась необходимым условием действительности личности, публичность общественных отношений — условием действительности этих отношений и что вообще для крестьянина публичность была атрибутом действительности.[61]

Освоение мира только практически, «через окна чувств», накладывало свой глубокий отпечаток на характер и содержание народных знаний. Знания крестьян, по свидетельству современников, были настолько же разнообразны, насколько широка была народная жизнь. «У народа существуют и своя поэзия, и своя философия, и свое естествознание, и своя юриспруденция, и своя политическая экономия, и своя социология, и своя политика». Однако народные знания имели существенный изъян: они существовали «не в виде систематизированных знаний, высоко стоящих в качественном отношении, а в форме *отрывочных, количественно сгруппированных* (курсив наш. — *Б. М.*) продуктов умственной деятельности».[62] Вследствие этого они отличались противоречивостью, сочетанием примитивности, порой даже нелепости с хорошим знанием отдельных конкретных фактов. Например, часто вместе с положительными сведениями о существенных признаках какого-нибудь «осота», вредящего земледелию, было в ходу среди земледельцев поверье

о волшебном папоротнике, цветок которого сообщает дар прозорливости и понимания языка животного. Позитивные знания о влиянии дождевой влаги на разные сельскохозяйственные растения сочетались с легендой об Илье — пророке, разъезжающем по небу в гремящей колеснице, — как причине грозы. Понимание зависимости между урожайностью и степенью культивирования почвы уживалось с верой в золотые горы и «самородючие земли», а верные понятия о связи социального и экономического неравенства — со смутными, а порой и извращенными представлениями о государственном строе родины. Кроме того, народные знания отличались слабым философским или теоретическим освещением фактов и явлений, отсутствием научных понятий. Это приводило к тому, что по некоторым отраслям знания крестьян сводились «к нулю и даже больше того — к отрицательным величинам в форме разного рода нелепостей».[63] И это совершенно естественно, и по-другому быть не могло. Теоретические выводы, абстрактные обобщения, установление строгих научных фактов — дело науки, и, следовательно, они не могли стать достоянием крестьянства, никоим образом не связанного в условиях крепостного права с наукой и лишенного образования. «Народ всегда стоял у самого факта и непосредственно, на собственном своем хребте изучал лишь практическую его силу и значение».[64] Поэтому крестьянин силен был лишь непосредственным знакомством с фактами и явлениями.

Однако следует иметь в виду, что и понимание практической силы и пригодности известных фактов затруднялось особенностями традиционного крестьянского мышления. «Мы все слишком привыкли считать русского мужика узким, сухим практиком, между тем как *практицизм его довольно низкой пробы* (курсив наш. — *Б. М.*) и часто в самых практических натурах является больше фикцией и самообольщением, чем настоящим „делом", и нередко весь вылетает в трубу от довольно легкомысленных промашек... То, что мы разумеем под „практичностью" русского мужика, до сего времени была больше робость, неуверенность, „семь раз примерь — и все-таки промахнись", чем истая практичность, прямолинейная, жестокая, без малейших колебаний и сомнений чувствующая свою „правоту". Может быть, когда-нибудь „мужик-практик" и выработает для себя эту „правоту", а пока...».[65]

Давая оценку народных знаний первой половины XIX в., следует, конечно же, иметь в виду условия, в которых проходила крестьянская жизнь. Не вина, а беда земледельцев состояла в том, что они были «*ограблены* в смысле образования, света и знания».[66] А ведь только «образование, — как указывал выдающийся советский психолог П. П. Блонский, — расширяет мышление и в то же время делает его более богатым, более содержательным; оно делает мышление более общим и более абстрактным и в то же самое время более детальным и более конкретным; наконец, оно делает мышление более дисциплинированным и более застрахованным от ошибок. Мышление необразованного при прочих равных условиях (например, при одинаковом жизненном опыте) более ограничено и менее содержательно, малоспособно к обобщениям и абстракциям, но в то же время более поверхностно, недисциплинированно и склонно к ошибочным объяснениям и неверному пониманию. Нет, пожалуй, ни одной интеллектуальной функции, на которую школа и даваемое ею образование влияли сильней, чем на мышление. И дело не только в даваемых школою знаниях... Школа учит решать задачи, выводить следствия, находить причины... Школа делает человека более опытным в мышлении».[67]

Характер мироощущения, мышления и воображения, так же как и содержание народных знаний, оказывал большое влияние на поведение крестьян, поскольку, каковы бы ни были эти знания, мироощущение, мышление и воображение в качественном отношении, они формировали личность, питали ум и чувства труженика с пеленок и до глубокой старости. Взять, к примеру, агротехническое новаторство крестьян. В первой половине XIX в. земледельцы не сделали ни одного сколько-нибудь существенного нововведения в сельском хозяйстве.[68] Случайно ли это? Нет, по-видимому, не случайно, а вполне закономерно. Любое значительное техническое нововведение или открытие предполагает наличие у человека, его сделавшего, таких качеств, как развитое техническое воображение, понятийное мышление, интеллектуальная инициатива, познавательное целеполагание,[69] то есть именно того, чем в силу исторических причин русский крестьянин в достаточной степени еще не обладал. А ведь любое творчество — агротехническое, социальное, политическое, интеллектуальное и т. п. — требует тех же качеств от

личности. Не поэтому ли крепостной крестьянин так тяготел к традиции, к старине? Не следует ли согласиться с теми, кто полагал, что «крестьянин, подавленный невежеством и вековою нищетою, привык подобно рабочему волу идти по одной, издавна проторенной дорожке; всякое отступление от нее кажется ему страшным и рискованным»? [70] Традиционализм, как верно заметил А. И. Клибанов, — порождение «примитивно-интегрированного сознания».[71] Новатор чувствует себя субъектом своих действий, а не объектом воздействия потусторонних сил и потому не боится нарушить что-либо из того, что установлено предшественниками, не нуждается для этого в санкции «сверху». Не таков был крепостной крестьянин. «Здешние крестьяне всегда охотно делают то, к чему они издавна привыкли, и всегда все делают так, как они прежде делали, — заметил один корреспондент Русского географического общества. — Все новое или по крайней мере переиначенное, даже самое полезное, для них всегда тягостно и неприятно. Сами они не придумывают да и не хотят придумать для себя новое и лучшее под тем благовидным предлогом, чтобы не показаться хитрецами, которые своими выдумками как будто хотят переменить божию волю».[72] Корреспондент точно подметил самую суть традиционного отношения к жизни — боязнь изменения, происходившую из убеждения, что всякая перемена означает вмешательство в прерогативы высших сил, нарушение устоев окружающего мира и потому не может привести ни к чему хорошему. Глубокая крестьянская вера в неизменность всего сущего нашла свое выражение в пословице: «Не нами установлено, не нами и переставится». При этом «не нами установлено» — не обращение за поддержкой к старине и не утверждение авторитета старины, а указание на «объективность» установлений — так было и так будет, — на принадлежность существующих установлений устоям окружающего мира. Подобное отношение к жизни, вероятно, не может быть полностью объяснено религиозностью земледельцев, ориентировавшей их на традицию. Скорее всего сама религиозность — следствие традиционного крестьянского сознания.[73]

Можно надеяться, что учет особенностей психического склада крестьянина поможет лучше уяснить причины большего или меньшего непонимания, существовавшего в XIX в. между крестьянством и теми представителями

образованного класса русского общества, которые относились к нему с живым сочувствием. Вполне возможно, что глубокие различия в типе сознания тех и других составляли порой столь серьезное препятствие для общения и взаимопонимания, преодолеть которое оказывалось невозможным. Затруднения начинались с языка, на котором говорили люди образованные и крестьяне (русский язык тех и других был существенно иным), и кончались непониманием и неприятием мыслей и чувств друг друга. Крестьяне и образованные представители привилегированных сословий мыслили и чувствовали как бы в разных плоскостях или на разных уровнях. Первые мыслили по законам традиционного сознания, вторые — преимущественно по законам рационального сознания, хотя последнее в условиях того времени не могло не быть классово ограниченным. Затрудненность взаимопонимания сохранялась долгое время после отмены крепостного права, и многие писатели второй половины XIX—начала XX в. отразили это в своих произведениях. Разумеется, различия психического склада составляли одну из причин взаимонепонимания и к тому же не главную (главная причина — социально-экономическое неравенство крестьянства и привилегированных сословий). Однако и эти различия нельзя сбрасывать со счета, поскольку они, являясь как бы конечным продуктом социально-экономического неравенства, лежали на поверхности, острее всего чувствовались современниками и, пожалуй, самое существенное, препятствовали проникновению в деревню передовых идей, революционной идеологии. Неудача «хождения в народ» в 1870-е гг. представляет, по-видимому, явление именно этого порядка. Пропаганда народников не нашла большого отклика у крестьян кроме всего прочего еще и потому, что они говорили на разных языках — в прямом и переносном смысле.

Характер традиционного мышления и мироощущения оказывал, вероятно, то или иное влияние на все стороны жизни крестьянства и все виды его поведения. Представляется, что учет психического склада позволяет глубже понимать и крупные, и мелкие факты быта земледельца. Скажем, крестьянка предпочитала обращаться к знахарю, а не к доктору. Почему? Не только из-за материальных расчетов, а потому, что происхождение своей болезни приписывала не естественным причинам, а дурному глазу и

порче. По той же причине некоторые крестьянки тщательно скрывали время родов и старались разродиться самостоятельно где-нибудь под стогом в поле или в сарае.[74] Страх дурного глаза был вызван определенным коплексом верований, которые не в последнюю очередь обусловливались мироощущением крестьян — тем, что они чувствовали себя объектами воздействия потусторонних сил. Крестьяне Смоленской губернии еще в 1850-е гг. «помогали» своим женам рожать «оригинальным» способом: они ложились рядом с роженицей и корчились, имитируя роды.[75] Этот странный с точки зрения современного человека обычай («кувада») объяснялся тем, что имитация в глазах крестьян имела магический характер и потому помогала при родах. Возможность магического восприятия мира, в данном случае родов, в значительной степени определялась пережитком мифологического сознания — представлением о том, что подобное (а сходство, как указывалось, мифологическое сознание устанавливает по второстепенным внешним признакам) тождественно, взаимодействует, переходит друг в друга.

Демографическое поведение крепостного крестьянства отличалось субъективной стихийностью, крестьяне, например, не пытались ограничить рождаемость. Случайно? Нет, закономерно. Крестьянин, не чувствуя себя субъектом своих действий, вмешательство в таинство зачатия и рождения считал греховным.

Или вот возьмем крестьянское понимание времени. И современники, и многие исследователи отмечали его своеобразие.[76] В представлении крестьянства время не было ни необратимым, ни линейным, ни бесконечно делимым (как у нас), оно было циклическим и конкретным. Не существовало четкого различения времен года и их границ. Понятия весны, лета, осени и зимы существовали лишь в конкретном отношении ко времени и характеру трудовых процессов. Прошедшее и настоящее тоже четко не разделялись, прошедшее как бы вновь и вновь возвращалось. Поэтому будущее представлялось похожим на настоящее. Время не существовало в сознании крестьянства как абстрактная протяженность, но всегда оказывалось привязанным к его практическому опыту, к определенным событиям. «Русский человек не любит определенного астрономического времяисчисления и охотнее означает разные времена года, дни и недели своими сель-

скими работами, церковными праздниками и постами».[77] Причина — конкретный, наглядно-действенный характер мышления. Следствие — неспособность увидеть мир и общество развивающимися, чуждость идеи развития и изменения. А. Я. Гуревич справедливо отмечал сходное понимание времени западноевропейским средневековым человеком: «Стабильность, традиционность, повторяемость — в этих категориях двигалось их сознание, в них же осмыслялось то действительное историческое развитие, которого они так долго не могли ощутить».[78]

Нечеткое разделение прошедшего, настоящего и будущего времени (это в значительно большей степени было присуще мифологическому сознанию) затрудняло и понимание причинно-следственных связей, существовавших между достаточно сложными явлениями природы и общественной жизни. Ведь различение причины и следствия предполагает их четкое разделение во времени, поскольку причина предшествует следствию.

Наконец, отметим связь традиционного типа сознания с цельностью и непротиворечивостью мироощущения крестьянина, с чувством полноты бытия. Львиную долю своих знаний крестьянин получал путем личного опыта, толику — от других людей, через рассказы бывалых, проповеди священника и лишь крупицу — из книг, которые читали немногие грамотные. Как древний мудрец, он все свое носил с собой. Ограниченность информации, которой обладал крестьянин, повышенная эмоциональность и отсутствие сомнений приводили к тому, что он непосредственно относился к жизни, органически переживал все ее проявления. Чувство полноты бытия, не разъятого рефлексией и опытом других людей на составные элементы, отсутствие в сознании существенных противоречий, поскольку они легко уживались, — вот что давало крестьянину традиционное сознание. «В силу этого, — подметил А. Я. Гуревич, говоря о традиционном средневековом крестьянине, — ему присуща такая мера цельности и нерасчлененности его общественной практики, которая утрачивается при переходе к более развитому и дифференцированному буржуазному обществу. Всякий прогресс всегда и неизбежно диалектичен. За него приходится расплачиваться утратою тех или иных ценностей, воплощавших более непосредственное отношение к жизни».[79]

Любой факт, любое событие в жизни эмоционально

переживались крестьянином. У него не выработалось привычки, которую дает регулярное чтение, смотреть на все, в том числе и на себя, со стороны, глазами постороннего. Крестьянин поэтому чувствовал глубокую сопричастность со всем, с чем сталкивала его жизнь. Такое глубоко эмоциональное отношение к жизни нашло отражение в художественной литературе. Вот одна характерная зарисовка писателя-народника. «С каждым шагом к округе (где им предстояло судить. — *Б. М.*), с каждой встречей, — пишет автор о чувствах крестьян-присяжных, идущих в город на суд, — все сильнее начинали они ощущать, хотя смутно, свою близость к этому „народному греху и несчастью", свою нравственную обязанность к нему. Так называемые „культурные" люди не могут иметь даже смутного ощущения этой близости. Для них „народный грех, несчастие" есть не более как „абстрактная идея" права, выражаясь их словами; для народа — это „боль человека с плотью и кровью". Ежели осудить человека „греха и несчастья", то как бы не превысить меру господня наказания и как бы тому человеку больнее не стало, чем по совести следует».[80] Вот что чувствовали и думали крестьяне о предстоящей им работе в суде. Так же близко к сердцу принимали они все, что случалось с ними на суде, в перерывах между заседаниями. Городские разговоры о справедливости, просвещении и т. д., так же как судейские, адвокатские и прочие уловки, остались им непонятны, возбудили в них страх, чувство отчужденности, смятения. Характерна реакция крестьян на уличение одного из присяжных от городского сословия в обмане (последний имел подложные документы) — возмущение, отчаяние, испуг. Эмоциональное потрясение оказалось так велико, что один из крестьян от страха перед несправедливостью сбежал в деревню, а другой заболел.

Это своеобразное, утраченное современным горожанином мироощущение, сердечное, эмоциональное отношение к любому творению природы и человека и к самому человеку с замечательной силой отражено в произведениях известного советского писателя В. Распутина, в особенности в его повестях «Прощание с Матерой» и «Последний срок».[81]

Говоря о своеобразии сознания крестьянства феодальной эпохи, ни на минуту не следует забывать о том, что традиционность, или патриархальность, сознания была обу-

словлена прежде всего социально-экономическими причинами. К. Маркс писал: «Над различными формами собственности, над социальными условиями существования возвышается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь класс творит и формирует все это на почве своих материальных условий и соответственных общественных отношений».[82]

Среди этих социально-экономических условий следует прежде всего указать на крепостное право, неразвитость экономики, рутинное состояние орудий труда, низкий жизненный уровень, наличие у каждого крестьянина своего крошечного хозяйства, патриархальность отношений натурального и полунатурального хозяйства, сельскую передельную общину с круговой порукой и обязательным способом земледелия.[83]

Социально-экономические причины лежали в основе, образуя как бы фундамент традиционного типа сознания русского крепостного крестьянства. Но они действовали на психический склад не прямо, а опосредованно, через группу факторов, которые, несмотря на свою первичную обусловленность теми же социально-экономическими причинами, играли и самостоятельную роль для психологии крестьянства. Это однообразие и монотонность сельской жизни, темнота и невежество крестьянства, относительная изоляция крестьянства от других сословий и отдельных сельских мирков друг от друга, низкая мобильность.

Приведенные факты, раскрывающие связи традиционного сознания с политическим, социальным, демографическим, экономическим поведением, показывают те новые возможности, которые открывает использование некоторых положений исторической психологии в изучении событий, явлений и процессов прошлого.

С другой стороны, эти же факты говорят о том, что неверно приписывать представления современного человека и его познавательные возможности, ценности, нормы, установки и мироощущение — все то, что изучает современная социология и социальная психология, — человеку даже не столь отдаленного прошлого, каким является русский крестьянин XIX в. Отсюда очевидно, что применение историком понятийного аппарата социологии (так же как и социальной психологии), ее специальных теорий, методов и подходов требует тщательного приспособления и

тонкой их трансформации, учета историчности самого объекта исследования. Иначе историческая наука ничего не приобретет от сотрудничества с социологией, и будут правы те историки, которые вместе с Козьмой Прутковым полагают, что «и при железных дорогах лучше сохранять двуколку».

---

[1] Здесь и далее термин «сознание» употребляется не в социологическом и философском смыслах, а в психологическом значении понятия, как синоним психики или психического склада.

[2] *Лурия А. Р.* Психология как историческая наука. — В кн.: История и психология. М., 1971, с. 36.

[3] *Выготский Л. С.* Поведение животных и человека. — В кн.: *Выготский Л. С.* Развитие высших психических функций : Из неопубликованных трудов. М., 1960, с. 397—457; *Выготский Л. С., Лурия А. Р.* Этюды по истории поведения. М., 1930. 232 с.; *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. М., 1981, с. 219—435; *Лурия А. Р.* Об историческом развитии познавательных процессов. М., 1974. 172 с.

[4] *Анцыферова Л. И.* К проблеме изучения исторического развития психики. — В кн.: История и психология. М., 1971, с. 63—89.

[5] *Анцыферова Л. И.* Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974, с. 219—247; *Рожанский И. Д.* Проблемы исторической психологии в изучении античности. — Вопросы философии, 1971, № 9, с. 167—174; *Розовская И. И.* Проблематика социально-исторической психологии в зарубежной историографии XX века. — Там же, 1972, № 7, с. 128—136.

[6] *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. 527 с.; *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1979. 232 с.; *Лотман Ю. М.* 1) К проблеме типологии культуры. — В кн.: Тр. по знаковым системам. Тарту, 1967, III, с. 30—38; 2) О понятии географического пространства в русских средневековых текстах. — Там же, 1965, II, с. 210—216; *Данилова И. Е.* О категории времени в живописи средних веков и раннего Возрождения. — В кн.: Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976, с. 157—174; *Успенский Б. А.* Семиотика иконы. — В кн.: Тр. по знаковым системам. Тарту, 1971, V, с. 178—222; Художественный язык средневековья. М., 1982. 272 с., и др.

[7] *Раушенбах Б. В.* 1) Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975. 184 с.; 2) Пространственные построения в живописи : Очерк основных методов. М., 1980. 288 с.; *Флоренский П. А.* Обратная перспектива. — В кн.: Тр. по знаковым системам, III, с. 381—416.

[8] *Гуревич А. Я.* Представления о времени в средневековой Европе. — В кн.: История и психология. М., 1971, с. 159—198.

[9] *Келле В. Ж., Ковальзон М. Я.* Проблемы теории исторического процесса. М., 1981, с. 163—178; *Кон И. С.* Открытие «я». М., 1978, с. 111—224; Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л., 1979, с. 7; *Брушлинский А. В.* Культурно-историческая теория мышления. М., 1968. 104 с.

[10] *Кон И. С.* 1) Социология личности. М., 1967, с. 185—207; 2) Открытие «я», с. 111—144; *Фрэзер Д. Д.* Золотая ветвь : Исследование магии и религии. М., 1980, с. 61—74.

[11] *Спиркин А. Г.* Происхождение сознания. М., 1960, с. 7—17; *Low D. M.* History of bourgeois percertion. Brighton : Harvester Press, 1982. 206 p.

[12] *Лебедев Б. К.* Исторические формы социальных типов личности. Казань, 1976, с. 134—170; *Лой А. Н.* Социально-историческое содержание категорий «время» и «пространство». Киев, 1978, с. 78—85; *Кон И. С.* Открытие «я», с. 183—224.

[13] *Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П.* История первобытного общества. М., 1974, с. 123.

[14] *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976, с. 167, 168.

[15] *Фрэзер Д. Д.* Золотая ветвь..., с. 60; см. также: *Поршнев Б. Ф.* Социальная психология и история, с. 217—219.

[16] Всесторонний анализ мифологического сознания дал известный советский фольклорист Е. М. Мелетинский в своей книге «Поэтика мифа» (с. 164—168). При характеристике данного типа сознания мы полностью опирались на этот анализ. О мифологическом сознании см. также: *Велецкая Н. Н.* Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. 239 с.; *Иорданский В. П.* Хаос и гармония. М., 1982. 343 с.; *Леви-Стросс К.* 1) Структурная антропология. М., 1983. 538 с.; 2) Мифологичные. — В кн.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 25—49; 3) Миф, ритуал и генетика. — Природа, 1978, № 1, с. 90—106; 4) Колдун и его магия. — Там же, 1974, № 7, с. 87—91; № 8, с. 88—97; *Фрэзер Д. Д.* Золотая ветвь..., с. 20—73; *Стеблин-Каменский М. И.* Миф. Л., 1976. 103 с.; *Брунер Дж.* Психология познания : За пределами непосредственной информации. М., 1977, с. 320—358; *Чернене Б.* Методологические проблемы исследования первобытного мировоззрения: Автореф. дис. ...канд. филос. наук. Вильнюс, 1971. 21 с.

[17] *Веккер Л. М.* Психические процессы. Т. 2. Мышление и интеллект. Л., 1976, с. 200—223.

[18] О традиционном типе сознания см.: *Гуревич А. Я.* 1) Категории средневековой культуры. М., 1972. 318 с.; 2) Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 359 с.; *Левада Ю. А.* Социальная природа религии. М., 1965, с. 82—99; *Кон И. С.* 1) Социология личности. М., 1967, с. 203—205; 2) Открытие «я», с. 145—182; *Лой А. Н.* Социально-историческое содержание..., с. 66—78, и др.

[19] *Гуревич А. Я.* Социальная психология и история : Источниковедческий аспект. — В кн.: Источниковедение : Теоретические и методологические проблемы. М., 1969, с. 398.

[20] *Лилли С.* Люди, машины и история : История орудий труда и машин в ее связи с общественным прогрессом. М., 1970, с. 9—106.

[21] *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа, с. 153, 167.

[22] Цит. по: *Хильми Г. Ф.* Поэзия науки. М., 1970, с. 28.

[23] *Адамар Ж.* Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970, с. 66, 72.

[24] *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа, с. 172, 173.

[25] *Аверинцев С.* Аналитическая психология К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. — Вопросы литературы, 1970, № 3, с. 117.

[26] *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление : Психологический очерк. М., 1977, с. 233—241.

[27] *Стеблин-Каменский М. И.* Миф, с. 89—90.

[28] *Кон И. С.* Открытие «я», с. 111.

[29] *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление, с. 243.

[30] *Брунер Дж.* Психология познания..., с. 359—376.

[31] Цит. по: *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление, с. 42.

[32] *Ариес Ф.* Возрасты жизни. — В кн.: Философия и методология истории. М., 1977, с. 216—245; Идеология феодального общества в Западной Европе : Проблемы культуры и социально-культурных представлений в современной зарубежной историографии. М., 1980, с. 273—291.

[33] *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры, с. 279—280.

[34] Интересную попытку проследить связь между демографическими революциями, в ходе которых происходил скачкообразный переход от одного исторического типа воспроизводства населения к другому, и радикальной ломкой демографического поведения и общественного сознания предпринял советский демограф А. Г. Вишневский в книге «Воспроизводство населения и общество» (М., 1982, с. 43—65).

[35] *Маркс К.* Капитал : Критика политической экономии. Том первый, книга 1 : Процесс производства капитала. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 5.

[36] *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 208.

[37] *Литвак Б. Г.* О некоторых чертах психологии русских крепостных первой половины XIX в. — В кн.: История и психология. М., 1971, с. 209.

[38] Там же, с. 209; см. также: *Кавтарадзе Г. А.* К истории крестьянского самосознания периода реформы 1861 г. — Вест. ЛГУ, 1969, № 14, с. 60—61.

[39] *Энгельс Ф.* Эмигрантская литература. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 547.

[40] *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967, с. 15, 27, 331, и др.

[41] Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов, с. 119—120; *Веккер Л. М.* Психические процессы, т. 2, с. 201—202.

[42] *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 24.

[43] *Ленин В. И.* К деревенской бедноте. — Полн. собр. соч., т. 7, с. 196.

[44] *Энгельс Ф.* Из Парижа в Берн. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 5, с. 508.

[45] *Успенский Г. И.* Крестьянин и крестьянский труд. — В кн.: Избранное. М., 1953, с. 377. — Эволюционный подход к сознанию дает право использовать хронологически более поздние свидетельства о крестьянской психике для характеристики ее более ранних стадий, когда речь идет о пережиточных (для более позднего времени), а не новых явлениях в сознании.

[46] Там же, с. 385.

[47] *Кузнецов Я. О.* Характеристика общественных классов по народным пословицам и поговоркам. — Живая старина, 1903, вып. 3, с. 396.

[48] *Рахматуллин М. А.* 1) Проблема общественного сознания крестьянства в трудах В. И. Ленина. — В кн.: Актуальные проблемы истории России периода феодализма. М., 1970, с. 398—441; 2) К вопросу об уровне общественного сознания крестьянства в России. — В кн.: Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР. Смоленск, 1972, с. 158—170.

[49] *Литвак Б. Г.* О некоторых чертах психологии..., с. 208—209.

[50] Златовратский Н. Н. Собр. соч. СПб., 1913, т. 8, с. 107.

[51] *Скалдин В.* В захолустье и в столице. СПб., 1870, с. 51.

[52] Там же, с. 52.

[53] *Звонков А. П.* Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. — В кн.: Сборник сведений для изучения быта сельского населения России. М., 1889, вып. I, с. 97—100.

[54] *Литвак Б. Г.* О некоторых чертах психологии..., с. 209.

[55] *Ленин В. И.* Из дневника публициста. — Полн. собр. соч., т. 34, с. 128.

[56] *Кириллин А. Е.* В. И. Ленин о психических особенностях крестьянства. — В кн.: Некоторые вопросы философских наук. Л., 1968, с. 218—240.

[57] *Литвак Б. Г.* О некоторых чертах психологии..., с. 200.

[58] Там же, с. 202—205.

[59] *Ленин В. И.* Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. — Полн. собр. соч., т. 1, с. 434.

[60] *Златовратский Н. Н.* Собр. соч., 1912, т. 3, с. 119.

[61] *Клибанов А. И.* О методологии изучения религиозного сознания. — В кн.: Вопросы научного атеизма. Вып. 11. Психология и религия. М., 1971, с. 102—103.

[62] *Щербина Ф.* Передача и обращение народных знаний. — Устои, 1882, № 5, с. 11.

[63] Там же.

[64] Там же.

[65] *Златовратский Н. Н.* Собр. соч., т. 3, с. 216.

[66] *Ленин В. И.* К вопросу о политике Министерства народного просвещения. — Полн. собр. соч., т. 23, с. 127.

[67] *Блонский П. П.* Память и мышление. — В кн.: Избранные психологические произведения. М., 1964, с. 281.

[68] *Ковальченко И. Д.* Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967, с. 75—80.

[69] *Боно Э. де.* Рождение новой идеи. М., 1976, с. 86.

[70] *Скалдин В.* В захолустье и в столице, с. 222.

[71] *Клибанов А. И.* О методологии изучения религиозного сознания, с. 104—105.

[72] *Лебедев Н.* Быт крестьян Тверской губернии. — В кн.: Этнографический сборник. СПб., 1853, вып. I, с. 197.

[73] *Клибанов А. И.* О методологии изучения религиозного сознания, с. 101, 107.

[74] *Лебедев Н.* Быт крестьян Тверской губернии, с. 183.

[75] *Добровольский В. Н.* Смоленский этнографический сборник. СПб., 1894, ч. II, с. 369—371.

[76] *Плаксин Н.* Русский год. — Семейный круг, 1860, № 6, с. 180; *Клибанов А. И.* О методологии изучения религиозного сознания, с. 101; *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 254; *Чичеров В. И.* Зимний период русского земледельческого календаря. XVI—XIX вв. М., 1957, с. 11—12, 16.

[77] *Шеппинг Д. О.* Сказание, киим святым каковые благодати от бога даны. — Русский архив, М., 1863, вып. 12, с. 947.

[78] *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры, с. 138.

[79] Там же, с. 283.

[80] *Златовратский Н. Н.* Собр. соч., 1912, т. 2, с. 27—28.

[81] *Распутин В.* Повести. М., 1976. 654 с.

[82] *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 145.

[83] *Кириллин А. Е.* В. И. Ленин о психологических особенностях крестьянства, с. 218—240.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НОВЫЕ ИСКУШЕНИЯ ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?

Важнейшим условием дальнейшего прогресса исторического мышления является еще более интенсивное и ускоренное развитие междисциплинарных связей истории, в особенности с такими науками, как социология, политическая экономия, психология, лингвистика. Призывы разрушить традиционные барьеры между науками высказывают представители всех общественных наук. «После периода дифференциации и поиска автономии все дисциплины ощущают потребность в единстве. На место „академической клептомании", которая состоит в том, что у других наук заимствуются их наблюдения, пришло требование „междисциплинарного подхода", соединяющего все добродетели».[1] Ностальгия по утраченному единству общественных наук — разумеется, на новых основаниях, чем это было в прошлом, например в античности, — таков лейтмотив высказываний и обществоведов-«практиков», и обществоведов-методологов, когда они пишут о состоянии наук о Человеке.

Тесное содружество истории и социологии — часть общей и крайне актуальной в настоящее время задачи, стоящей перед всеми обществоведами, — развитие междисциплинарного подхода к явлениям общественной жизни.

Можно указать на два пути применения социологического инструментария для анализа общественных явлений прошлого. Путь первый — переосмысление исторического материала, собранного и описанного на языке исторической науки, в социологических понятиях и концепциях. Путь второй — познание исторических явлений с самого начала с помощью социологического инструментария. В первом случае социология выступает как прикладная, вспомогательная историческая наука, понятия кото-

рой «прикладываются» в известном смысле к чуждому ей материалу, поскольку он получен с помощью не социологических, а исторических понятий и процедур. Когда информация уже собрана, обработана и описана на языке исторической науки или некоторые эмпирические зависимости зафиксированы в исторических терминах, социологические понятия как бы перекраивают, преобразовывают, переобозначают исторический материал, подобно тому как перекраивается и перешивается костюм по новой модели. Во втором случае историческая действительность изначально «наблюдается» и расчленяется под углом зрения социологических понятий, в соответствии с которыми проходят и сбор эмпирического материала, его обработка и интерпретация; другими словами, историческое исследование проходит как социологическое и отличается от последнего только историческим объектом изучения.

Оба пути использования социологии дают определенные плоды, и не следует пренебрегать ни тем, ни другим. Однако нужно отчетливо представлять возможности и трудности каждого из них. Обращение к социологии помогает историку по-иному осмысливать уже известные исторические проблемы, факты, закономерности, позволяет увидеть новые аспекты, новые стороны в изучаемом объекте.

Однако, получая от социологии готовую схему для упорядочения уже известных в истории фактов и зависимостей, мы в той или иной мере остаемся «рабами» этих фактов и зависимостей и не можем получить принципиально новое знание (как из старого костюма портной не может сшить то, что хочется клиенту: старый фасон в значительной мере диктует варианты переделки). В этом случае социология не в состоянии проявить все свои возможности для получения нового исторического знания. Кроме того, на пути переосмысления готового исторического материала в социологических понятиях стоит существенная преграда: большая предварительная работа по соотнесению двух систем понятий — исторических и социологических.

Непосредственное или изначальное применение социологического инструментария в работе с историческим материалом открывает бóльшие возможности для эффективного использования социологических понятий, концепций, теорий. Однако результаты таких исследований будут

слабо соотноситься с традиционно историческими трудами, развитие исторической науки пойдет двумя параллельными, неперекрещивающимися дорогами. И, вероятно, такие исследования будут иметь большее значение не для историков, а для социологов, обогащая социологические понятия конкретным историческим содержанием и создавая для них благоприятную возможность проверить правильность своих концепций на историческом материале. Кроме того, изначальное «кодирование» исторического материала на языке социологии заключает в себе опасность презентизма, поскольку социологический инструментарий предназначен для анализа современных, а не исторических проблем. Поэтому и в том случае, когда социология будет иметь фундаментальное значение для исторического исследования, все равно потребуется установление связи между терминами исторических источников и социологическими понятиями.

Оценивая оба способа использования социологии в истории, отметим, что, хотя они и имеют свои трудности и ограничения, и тот, и другой способы целесообразно применять в исследовании прошлого, так как они дополняют друг друга, расширяя наши познавательные возможности.

Подчеркнем, что применение социологических методов, техники, процедур, анализа, понятий, концепций и специальных теорий имеет задачу не только расширить пределы исторического ви́дения мира, но и наладить долгосрочное сотрудничество между историей и социологией на базе общих методологии, методики и понятийного аппарата, интегрировать различные точки зрения на проблемы одного и того же порядка, систематически обмениваться опытом и научными результатами, накопленными обеими науками. Не случайное заимствование результатов и методов, а *взаимовыгодное сотрудничество и интеграция без потери профессионального суверенитета* — так мы понимаем проблему связи истории с социологией.

Но на пути использования социологии в истории есть серьезная трудность психологического порядка — опасность навязать людям прошлого современное ви́дение мира, поскольку социологи занимаются преимущественно человеком современным. Проблема эта преодолевается вдумчивым, осторожным использованием социологического инструментария и, наоборот, усугубляется механи-

ческим перенесением в историю понятий, концепций, теорий, методов социологии. Важнейшие понятия социологии — личность, социальная группа, социальная мобильность, социализация, санкция, социальный контроль, социальная структура, роль, статус, коммуникация и др. — могут быть использованы в историческом исследовании только при условии внесения в них исторического содержания, установления связей между ними и традиционными историческими понятиями. Успешное применение социологических методов также предполагает сочетание их с историческими методами. Специальные социологические теории будут полезны в историческом исследовании лишь в соединении с критическим анализом исторических источников и с «антикварным» изучением прошлого. Иначе и быть не может.

Историк-марксист стремится не только к пониманию прошлого как предыстории современности, но и к раскрытию прошлого как противоположности современности. Сочетание этих задач, стоящих перед историком, и является важнейшей предпосылкой использования как традиционно исторических, так и современных социологических методов. Нахождению в прошлом определенных элементов современности будет более способствовать социологический анализ прошлого, а раскрытию его своеобразия, уникальности — традиционный исторический анализ с его неизменным интересом к антикварному и особенному.

Став на путь интеграции с другими общественными науками (повторяем — *без потери профессионального суверенитета*), историк вынужден отказаться от положения, столь поэтично выраженного Ж.-Ж. Руссо: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один», — и принять мысль его соотечественника: «Для меня история — это сумма всех возможных историй, всех подходов и точек зрения — прошлых, настоящих и будущих».[2]

И, наконец, ответим на последний вопрос: всегда ли и везде возможно сочетать исторический подход с социологическим? В той или иной мере всегда. Однако эта мера будет весьма различной в отдельных исторических исследованиях, находясь в зависимости от объекта изучения и наличия источников. «У истории два лица — социологическое и гуманитарное, одно обращено к массовым процессам, другое — к личности».[3] То «лицо истории», которое обращено к массовым процессам, при наличии источников

может изучаться не только исторически, но также и социологически, то есть с помощью социологического инструментария. То «лицо истории», которое обращено к личности, может изучаться не только исторически, но и психологически; но психология, как известно, тоже связана с социологией.

Следует, однако, отчетливо сознавать, что применение в истории социологии помогает, но не гарантирует нахождение истины, тем более что и сама социологическая теория находится в процессе постоянного развития.[4] Поэтому тщетно было бы надеяться, что с использованием в истории социологии историография немедленно превратится в строгое научное знание. Но вполне разумно ожидать увеличения в ней строго научных результатов и уменьшения субъективизма, который нередко еще встречается в исторических исследованиях под личиной объективного знания.

---

[1] *Пэнто Р., Гравитц М.* Методы социальных наук. М., 1972, с. 193.

[2] *Бродель Ф.* История и общественные науки. — В кн.: Философия и методология истории. М., 1977, с. 128.

[3] *Гулыга А. В.* История как наука. — В кн.: Философские проблемы исторической науки. М., 1969, с. 35.

[4] *Левада Ю. А.* Историческое сознание и научный метод. — В кн.: Философские проблемы исторической науки, с. 186—224.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. Соотношение истории и социологии

Бромлей Ю. В., Шкаратан О. И. О соотношении предметных областей этнографии, истории и социологии. — Социол. исследования, 1978, № 4, с. 42—52.

Дробижева Л. М. История и социология: (История и современность). М., 1971. 157 с.

История и социология. М., 1964. 341 с.

Кон И. С. История в системе общественных наук. — В кн.: Философия и методология истории. М., 1977, с. 5—36.

Кон И. С. История и социология: (О некоторых проблемах современной буржуазной социологии). — Вопр. философии, 1978, № 8, с. 79—90.

Лащук Л. П. Введение в историческую социологию. М., 1977. Вып. 1. 171 с.; Вып. 2. 148 с.

II. Прикладная социология

Андреева Г. М. Социальная психология. М., 1980. 415 с.

Десев Л. Психология малых групп. М., 1979. 208 с.

История буржуазной социологии XIX—начала XX века. М., 1979. 344 с.

История буржуазной социологии первой половины XX века. М., 1979. 306 с.

Коллектив и личность. М., 1975. 263 с.

Кон И. С. Социология личности. М., 1967. 383 с.

Кон И. С. Открытие «я». М., 1978. 367 с.

Левада Ю. А. Социальная природа религии. М., 1965. 263 с.

Левада Ю. А. Лекции по социологии. М., 1969. Вып. 1. 171 с.; Вып. 2. 181 с.

Марксистская и буржуазная социология сегодня. М., 1964. 480 с.

Марксистско-ленинская философия и социология в СССР и европейских социалистических странах. М., 1965. 550 с.

Методологические проблемы системного изучения деревни. Новосибирск, 1977. 271 с.

Пригожин А. И. Социология организаций. М., 1980. 257 с.

Рывкина Р. В. Образ жизни сельского населения: (методология, методика и результаты изучения социально-экономических аспектов жизнедеятельности). Новосибирск, 1979. 352 с.

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л., 1979. 264 с.

Советская социология. М., 1982. Т. 1. 287 с.; Т. 2. 256 с.
Социальная психология. М., 1975. 319 с.
Социальные исследования. М., 1965—1971. Вып. 1—7.
Социология в СССР. М., 1966. Т. 1. 532 с.; Т. 2. 511 с.
Социология и современность. М., 1977. Т. 1. 424 с.; Т. 2. 439 с.
Человек и его работа. Социологическое исследование. М., 1967. 392 с.
Шляпентох В. Э. Социология для всех. М., 1970. 250 с.
Шубкин В. Н. Социологические опыты. М., 1970. 288 с.
Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969. 240 с.

III. Методика исторического и социологического исследования

Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологических исследований. М., 1969. 205 с.
Кахк Ю. Ю. К вопросу о типологии крестьянских хозяйств в Эстонии начала XIX в. Таллин, 1975. 79 с.
Кахк Ю. Ю. Некоторые аспекты применения математических методов в исторических исследованиях. — В кн.: Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977, с. 165—187.
Килунов А. Ф. Применение конкретно-социологических исследований в исторической науке. — Вопр. истории, 1972, № 1, с. 34—48.
Ковальченко И. Д. О моделировании исторических явлений и процессов. — Вопр. истории, 1978, № 8, с. 72—93.
Ковальченко И. Д. Исторический источник в свете учения об информации: (К постановке проблемы). — История СССР, 1982, № 3, с. 129—148.
Ковальченко И. Д., Бородкин Л. И. Аграрная типология губерний Европейской России на рубеже XIX—XX веков: (Опыт многомерного количественного анализа). — История СССР, 1979, № 1, с. 59—95.
Мадиевский С. А. Методология и методика изучения социальных групп в исторической науке. Кишинев, 1974. 64 с.
Математические методы в исследованиях по социально-экономической истории. М., 1975. 320 с.
Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. 384 с.
Математические методы в исторических исследованиях. М., 1972. 234 с.
Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М., 1981. 415 с.
Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. М., 1975. 383 с.
Опыт и методика конкретных социологических исследований. М., 1965. 357 с.
Пронштейн А. П. Методика исторического источниковедения. Ростов н/Д, 1976. 479 с.
Процесс социального исследования: Вопросы методологии, методики и организации марксистско-ленинских социальных исследований. М., 1975. 576 с.
Рабочая книга социолога. М., 1976. 511 с.
Социологические исследования: Вопросы методологии и методики. Новосибирск, 1966. 471 с.
Устинов В. А., Фелингер А. Ф. Историко-социальные исследования, ЭВМ и математика. М., 1973. 325 с.

Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1972. 239 с.

IV. Системный анализ в социальном исследовании

Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках: (Критический очерк концепций французского структурализма). М., 1977. 271 с.

Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980. 368 с.

Барг М. А. Структурный анализ в историческом исследовании. — Вопр. философии, 1964, № 10, с. 83—92.

Барг М. А. Принцип системности в историческом исследовании. — История СССР, 1981, № 2, с. 78—98.

Грецкий М. Н. Французский структурализм. М., 1971. 48 с.

Ковальченко И. Д., Сивачев Н. В. Структурализм и структурно-количественные методы в современной исторической науке. — История СССР, 1976, № 5, с. 60—92.

Коростовцев М. А. Опыт применения системного анализа в исследовании раннеклассовых обществ: (Принцип построения модели «раннего рабства»). — Народы Азии и Африки, 1973, № 6, с. 66—73.

Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1980. 312 с.

Методологические вопросы общественных наук, вып. 2. Методологические аспекты структурно-функционального анализа в обществознании. М., 1971. 231 с.

Основные направления структурализма. М., 1964. 360 с.

Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 468 с.

Структурно-функциональный анализ в современной социологии. М., 1968. Вып. 1. 424 с.; Вып. 2. 196 с.

Штаерман Е. М. К проблеме структурного анализа в истории. — Вопр. истории, 1968, № 6, с. 20—37.

V. Историческая социология и историческая психология

а) В СССР

Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971. 136 с.

Барг М. А. Шекспир и история. М., 1979. 215 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. 567 с.

Брушлинский А. В. Культурно-историческая теория мышления. М., 1968. 104 с.

Вдовин А. И., Дробижев В. З. Социальная психология и некоторые вопросы истории советского общества: (К методологии исторического исследования). — История СССР, 1971, № 5, с. 23—42.

Вишневский А. Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М., 1982. 287 с.

Гайденко В. П. Тема судьбы и представление о времени в древнегреческом мировоззрении. — Вопр. философии, 1969, № 9, с. 88—98.

Громыко М. М. О некоторых задачах исторической социологии. — Изв. Сибирского отд. АН СССР. Серия общ. наук, 1967, № 11, вып. 3, с. 115—120.

Громыко М. М. Социальное настроение как категория общественно-исторической психологии. — В кн.: Бахрушинские чтения. 1966. Новосибирск, 1968, вып. 1, с. 20—31.

Громыко М. М. К характеристике социальной психологии сибирского купечества в XVIII в. — История СССР, 1971, № 3, с. 58—71.

Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири: (XVIII—первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975. 351 с.

Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 1966. 183 с.

Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 224 с.

Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 198 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 318 с.

Гуревич А. Я. Норвежское общество в раннее средневековье: Проблемы социального строя и культуры. М., 1977. 327 с.

Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 192 с.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. 359 с.

Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условность древнего искусства). М., 1970. 125 с.

Зотова О. И., Новиков В. В., Шорохова Е. В. Особенности психологии крестьянства: (прошлое и настоящее). М., 1983. 168 с.

История и психология. М., 1971. 384 с.

Кахк Ю. Ю. Нужна ли новая историческая наука? — Вопр. истории, 1969, № 3, с. 41—54.

Клибанов А. И. О методологии изучения религиозного сознания. — В кн.: Вопросы научного атеизма, вып. 11. Психология и религия. М., 1971, с. 82—113.

Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М., 1977. 335 с.; XIX в. М., 1978. 342 с.

Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 300 с.

Лебедев Б. К. Исторические формы социальных типов личности. Казань, 1976. 181 с.

Леонтьев А. А. Личность как историко-этническая категория. — Сов. этнография, 1981, № 3, с. 35—44.

Лой А. Н. Социально-историческое содержание категорий «время» и «пространство». Киев, 1978. 135 с.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф—имя—культура. — Труды по знаковым системам. Тарту, 1973, VI, с. 282—303.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси. — Вопр. литературы, 1977, № 3, с. 148—166.

Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов: Экспериментально-психологическое исследование. М., 1974. 172 с.

Мелетинский Е. М. Клод Леви-Стросс: Только этнология? — Вопр. литературы, 1971, № 4, с. 115—134.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. 407 с.

Милов Л. В. Классовая борьба крепостного крестьянства России в XVII—XVIII вв.: (Некоторые проблемы теории). — Вопр. истории, 1981, № 3, с. 34—52.

Миронов Б. Н. Традиционное демографическое поведение русского крестьянства. — В кн.: Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977, с. 83—104.

Миронов Б. Н. Влияние крепостного права на отношение русского крестьянина к труду. — В кн.: Советская историография аграрной истории СССР: (до 1917 г.). Кишинев, 1978, с. 119—126.

Миронов Б. Н. К вопросу об особенностях социальной психологии русского крестьянства. — В кн.: Проблемы развития социально-экономических формаций в странах Балтики. Таллин, 1978, с. 33—43.

Миронов Б. Н. Социальное расслоение русского крестьянства под углом зрения социальной мобильности. — В кн.: Проблемы аграрной истории. Минск, 1978, ч. 2, с. 106—115.

Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 538 с.

Опыт историко-социологического изучения села Молдино. М., 1968, 438 с.

Поршнев Б. Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. 520 с.

Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории: (Проблемы палеопсихологии). М., 1974. 487 с.

Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979. 232 с.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1946. 340 с.

Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт историко-этнографического исследования). М., 1963. 143 с.

Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. 325 с.

Раушенбах Б. В. Пространственные построения живописи. М., 1980. 288 с.

Рахматуллин М. А. К вопросу об уровне общественного сознания крестьянства в России. — В кн.: Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР. Смоленск, 1972, с. 158—170.

Рожанский И. Д. Миф и трагедия в Древней Греции. — Вопр. философии, 1973, № 10, с. 167—170.

Розовская И. П. Некоторые методологические проблемы социально-исторической психологии. — В кн.: Сб. аспирантских статей Института философии АН СССР, 1974, № 4, с. 149—175.

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки. М.; Л., 1966. 240 с.

Рындзюнский П. Г., Рахматуллин М. А. Некоторые итоги изучения крестьянской войны в России 1773—1775 гг. — История СССР, 1972, № 2, с. 71—88.

Село Вирятино в прошлом и настоящем: Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни. М., 1958. 279 с.

Соболев Г. Л. Проблемы общественной психологии в исторических исследованиях. — Труды Ленингр. отд. Института истории СССР АН СССР, 1967, вып. 10, с. 91—127.

Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л., 1976. 103 с.

Тарновский К. Н. О социологическом изучении капиталистического способа производства. — Вопр. истории, 1964, № 1, с. 120—132.

Флоренский П. А. Обратная перспектива. — Труды по знаковым системам. Тарту, 1967, III, с. 381—416.

Художественный язык средневековья. М., 1982. 272 с.

Штаерман Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975. 183 с.

Штернберг Л. Я. Первобытная религия. Л., 1936. 572 с.

б) За рубежом

Анцыферова Л. И. Материалистические идеи в зарубежной психологии. М., 1974, с. 219—247.

Анцыферова Л. И. О некоторых новых методологических тенденциях в современной зарубежной психологии. — Вопр. психологии, 1976, № 5, с. 55—69.

Барг М. А. Проблемы социальной истории: В освещении современной западной медиевистики. М., 1973. 230 с.

Берндт Р. М., Берндт К. Х. Мир первых австралийцев. М., 1981. 447 с.

Боас Ф. Ум первобытного человека. М.; Л., 1926. 153 с.

Бородкин Л. И., Селунская Н. Б. Методы изучения социальной истории в американской историографии: (По поводу «Проекта социальной истории Филадельфии»). — История СССР, 1978, № 2, с. 217—225.

Брунер Д. Психология познания: За пределами непосредственной информации. М., 1977. 412 с.

Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Проблемы междисциплинарного подхода и «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии. — В кн.: Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978, вып. 2, с. 110—163.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Этюд об организации высших обществ. Одесса, 1900. 331 с.

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление: Психологический очерк. М., 1977. 261 с.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. 536 с.

Леруа-Гуран А. Религия доистории. — В кн.: Первобытное искусство. Новосибирск, 1971, с. 81—90.

Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1972. 607 с.

Рожанский И. Д. Проблемы исторической психологии в изучении античности: (Обзор зарубежных исследований). — Вопр. философии, 1971, № 9, с. 167—174.

Розовская И. И. Проблематика социально-исторической психологии в зарубежной историографии XX века. — Вопр. философии, 1972, № 7, с. 128—136.

Соколов А. К. О применении новых методов в исследованиях историков США. — В кн.: Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М., 1981, с. 354—413.

Соколова М. Н. Современная французская историография: Основные тенденции в объяснении исторического процесса. М., 1979. 363 с.

Тутунджян О. М. Прогрессивные тенденции в исторической психологии Иньяса Мейерсона. — Вопр. психологии, 1963, № 3, с. 118—134.

Философия и методология истории. М., 1977. 335 с.

Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980. 831 с.

Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук. М., 1977. 488 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава I. В мастерской историка и социолога 9
Структура исторического и социологического исследований 9
Историческое исследование по социологической программе: отношение русского крестьянина к собственности 21
Программа исторического исследования — необходимость или мода? 35

Глава II. Новые проблемы и темы — новые понятия 40
Понятия исторические и социологические 40
Социальная мобильность крестьянства в России . . 50

Глава III. Историческое и социологическое видение 59
Община с точки зрения историка и социолога . . . 59
Особенности социологического подхода 90

Глава IV. В поисках скрытой исторической информации 95
Информация явная и скрытая 95
Источник должен заговорить. Грамотность в России в 1797—1897 гг. 105
За пределами непосредственной информации . . . 112

Глава V. Историческая психология и социальное поведение . . 118
Историческое развитие сознания и психологические революции 118
Историческая психология и социальное поведение русского крестьянина феодальной эпохи 140

Заключение: Новые искушения или новые возможности? 163
Библиография 168

Борис Николаевич Миронов

ИСТОРИК И СОЦИОЛОГИЯ

Утверждено к печати
редколлегией серии научно-популярных изданий
Академии наук СССР

Редактор издательства *Г. А. Альбова*
Художник *И. П. Кремлев*
Технический редактор *О. Б. Мацылевич*
Корректоры *Л. М. Егорова* и *Г. А. Лебедева*

ИБ № 21124

Сдано в набор 06.07.84. Подписано к печати 23.10.84. М-33176. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура литературная. Фотонабор. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9.24. Усл. кр.-отт. 9.39. Уч.-изд. л. 10.16. Тираж 12 200 (2 завод 1001 – 12200). Тип. зак. 2193. Цена 40 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

40 к.

·НАУКА·
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ